

**Чебоксары — 2009**



**Михаил СЕНИЭЛЬ**

**Собрание сочинений  
в трёх томах**

**Том первый**

**ЛИСТЬЯ НА ВЕТРУ**

*Стихотворения и поэмы  
1955—1990*

**Чебоксары — 2009**

ББК 84(2 Рос-Чув)—5

УДК 821.512.111

С 31

**Михаил СЕНИЭЛЬ**

**Собрание сочинений в трёх томах. Том первый.**  
**Листья на ветру.** Стихотворения и поэмы. 1955—1990.  
— Чебоксары, 2009. — 488 с., портрет.

В первый том вошли избранные стихотворения и поэмы,  
написанные в 1955—1990 годах.

Предисловие автора

ISBN 5—87677—046—9

© М. Сениэль, 2009

## СВОЕВРЕМЕННАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

Даже не верится, стыдно признаться, что скоро мне будет 70 лет. Я никогда не писал автобиографии для печати и вот сегодня решился на это. На жизненном пути мне мало помогали и много ставили подножки, брали за горло, даже душили, били и словом, и кастетом.

Меня любили и ненавидели. Меня незаслуженно оскорбляли и незаслуженно идеализировали. Над моими стихами плакали и издевались. Обо мне болтали, сплетничали, приписывали мне все на свете грехи и рассказывали небылицы, легенды, преувеличивая мою любвеобильность или смелость.

На меня писали доносы в районную и республиканскую газеты, в райком и обком КПСС, в ректорат Казанского университета, в татарский и чувашский КГБ, писали не только мелкие стукачи, но даже люди высшего эшелона власти. И меня почти никто не защищал, потому что эта защита порой дорого стоила — ибо их уволили бы с работы, исключили бы из университетов, из комсомола и партии, из Союза писателей, выбросили бы их книги из темплана книжного издательства, перестали бы печатать их произведения в газетах и журналах. В феврале 1978 года, когда снимали с меня шкуру за антисоветизм сначала в Союзе писателей, а потом в Чувашкнигоиздате, где я работал редактором художественной литературы, из двадцати одного писателя, присутствовавшего на «мероприятии», никто за меня не заступился, все «разоблачали» и «громили», приняли решение сборничек моих стихов «Песнь любви» запретить, а вскоре весь тираж сожгли во дворе типографии № 1 города Чебоксары.

В том же году за поэму «Любовь и Свобода», опубликованную в первом номере журнала «Родная Волга», редактору вклеили строгий выговор, а мне «вправляли мозги» в Чувашском обкоме КПСС у секретаря по идеологии, а потом травили в средствах массовой информации.

Когда одна «дама из Амстердама» на заседании месткома профсоюза стала поливать меня грязью и всячески стыдить и обзывать, я сорвался и сказал: «Замолчи, дура!». Но она у нас была секретарь партийной организации. Вызвали из республиканского диспансера машину, и меня увезли в «психушку». К счастью, мой родной брат Иван тоже работал в книжном издательстве, и он обратился по этому делу сразу же к идеологическому секретарю ОК КПСС товарищу Петрову, и Александр Петрович вскоре вытащил меня из «психушки». Нужно заметить, что одним из самых циничных изобретений борьбы с инакомыслием стало запихивание в «психушку».

Хотели выселить меня из квартиры — не получилось. Перестали печатать. И в середине 1979 года заставили уйти из книжного издательства — с тех самых пор никуда на работу не берут. Стыдно признаться, в 1997 году, за три года до пенсии по старости, чуть не подох с голоду, выручили подруга Зоя, подкормила, и младший брат Николай, директор гимназии...

И при новой власти мои гонители никак не могут успокоиться. В 2004 году в газете «Хыпар» (Вести) вышла моя поэма под названием «Шуря Шупашкар» (Белый Город), и на стол президента Чувашской Республики лёг донос на восемнадцати страницах. Оказывается, теперь Сениэль не антисоветчик, а антидемократчик.

Раньше за моей деятельностью следили капитан и майор КГБ и опекали меня всячески, проводили профилактику, а теперь из ФСБ никто за мной не ходит и на дом не приходит с хорошим вином «Букет Абхазии». Честно говоря, грустно как-то...

Короче, мне не удалось походить в диссидентах долго, «любить свободу» в лесах Мордовии или в Чистопольской тюрьме, где перед войной сидел мой отец (58 статья, 14 пункт), а много позже — Шаранский...

Такова моя жизнь, таков наш общий двадцатый век, что принесёт двадцать первый — пока никто не знает...

Я родился 30 декабря 1940 года в деревне Урмандеево (по-чувашски Саврашбусь) Аксубаевского района Республики Татарстан в семье колхозника. Оба моих деда погибли на гражданской войне, поэтому, рано оставшись полусиротами, родители мои имели небольшое образование.

Деда Гавриила Борисовича друг его учитель Григорий Федорович научил читать и писать. Тогда в Казани на чувашском языке стала выходить газета «Хыпар», и все грамотные чуваша её выписывали. В последний раз отец видел своего отца в 1919 году. Он запомнил его в длинной кавалерийской шинели с винтовкой в руках. Дед погиб в кавалерийской атаке и остался лежать в степи под Мариуполем, где высокие травы. Ему было всего 34 года. О другом деде я ничего не знаю. Отец мой, Егоров Павел Гаврилович, по линии своей матери Агриппины Емельяновны из Верхней Кондраты — потомок тарханов (Петр I упразднил тарханство, когда создал регулярную армию). Мать, Егорова Вера Гавриловна, в девичестве Антонова, по материнской линии из рода унтер-офицера царской армии Федота Васильева. До армии Федота в деревне Тарханка звали именем Атнакъл, на службе его крестили и дали русское имя. Бабка отца мамы Дария была из русской деревни Барское Енорускино. Она в совершенстве владела чувашским языком.

Перед второй мировой войной отец был репрессирован, чуть не погиб в концлагере, но когда началась война, и немец стал брать Москву, его, бывшего солдата, ворошиловского стрелка, взяли в штрафную роту и отправили защищать столицу первым номером пулемётного расчёта, и он в конце декабря 1941 года под Солнечногорском был тяжело ранен. Вернулся домой инвалидом и таким образом остался жив.

Моя мать рано вышла замуж, родила меня, первенца, совсем юной, и, видимо, поэтому в моём раннем детстве я долго путал её с бабушкой: то бабушку называл мамой,

то маму мамой. Отец спрашивал: «Сколько у тебя мам?». Я показывал два пальца.

Пяти лет я уже умел читать и писать. Научила мама. Отец в то время был ночным сторожем у колхозных амбаров и вечером попутно захаживал в библиотеку, брал оттуда для меня детские книжки на чувашском языке.

В первом классе, когда все учили «Азбуку» и «Букварь», я тайком читал «Нарспи», бессмертную поэму Константина Иванова о любви Нарспи и Сетнера, тем самым сильно отвлекал одноклассников от главного их занятия. Учительница Анна Григорьевна была очень недовольна этим и отнимала книжку.

К слову сказать, бабка моя не умела ни читать, ни писать, но почти всю поэму «Нарспи» знала наизусть. Кроме того, она знала наизусть также и баллады «Железная мялка» и «Вдова».

Характер мамы был мягкий, чувствительный, у неё было доброе сердце, она всех жалела и всем помогала в трудные минуты. И у неё — сильная интуиция: она способна насквозь увидеть любого человека, как бы он ни старался скрыть свою подлинную сущность. Этим свойством в нашей семье кроме неё, пожалуй, в большей мере обладает младший мой брат Иван.

Бабушка, наоборот, была характера твёрдого, почти сурового, никого не боялась, ни перед кем не заискивала, но беспричинно никого не обижала. Оставшись с тремя малолетними детьми в тридцать лет без мужа, она стойко выдержала все испытания и ужасы страшных лет большевистской свдепии, всех троих поставила на ноги, вывела в люди. Правда, в этом ей много помог прадед Борис, дед отца. Прадед Борис Егорович был из рода некрещёного чуваша Кулюк, а он был потомком Вурмандея, переселенца девятнадцатого века из села Шихран в Чувашии, возле которого в начале двадцатого века возник город Канаш. И вообще-то, сам я вылеплен из глины более семи чувашских и русских деревень и сёл. Их названия: Урмандеево, Аксубаево, Барское Енорускино, Чувашская



Чебоксарка, Тарханка, Чувашская Елтань, Верхняя Кондрата...

Прадед мой прожил 88 лет, отец — 90, матери скоро будет 89, а я собираюсь прожить до ста лет...

Отец тоже имел твёрдый характер, сильную волю. С виду был спокойный, но внутри у него всё кипело, и поэтому он временами срывался — очень не любил несправедливость и неправду, ложь и обман, пустословие. Свою «слабость» он хорошо знал и, видимо, оттого больше молчал, чем говорил. Некоторые люди называли его даже молчуном. Деревенских активистов и коммунистов отец считал ворами и лодырями, а бабка именовала их антихристами.

Все трое с малых лет учили меня честности, любви к физическому труду, уважению к старшим и т.д., а уважать и почитать отца и мать, родню учила мать моей матери — бабушка Елена, которая умерла с горя, когда на фронте убили её сына, брата моей матери Николая.

Жизнь шла и менялась, у меня появились новые младшие братья и сёстры, к 1954 году их стало шесть: забот стало во много раз больше, и я косил, рубил лес, пас скот, плотничал, садовничал, работал в огороде лопатой и мотыгой, в колхозе убирал и возил сено, снопы на ток, со всеми вместе молотил и веял зерно, отправлялся с обозом на элеватор в город Чистополь, который от нашей деревни — в пятидесяти верстах.

В том же году я окончил семилетку, окончил на отлично, хоть и был исключен перед экзаменами из школы за оскорбление сына директора — приехал из РОНО представитель и всё уладил.

Теперь мне предстояло продолжить образование в райцентре. Но как? За учёбу в средней школе надо было платить 150 рублей. А на что жить? За квартиру тоже плата. И мы с одним моим другом взяли делянку в Чебоксарском лесничестве (есть у нас такое лесничество!) и к первому сентября заработали кое-что...

Летом 1949 года погибла Людмила Атнакъл, двоюродная сестра моей матери. Ей было всего лишь девят-

надцать лет. К этому времени я окончил два класса начальной школы и перешёл в третий. Люда училась в Аксубаевском педучилище и писала стихи. Она меня очень любила, говорила со мной как со взрослым. Перед смертью попросила, чтобы я не забывал её, а когда подрасту опубликовал стихи и поэму. Поэма называлась «Завещание». Теперь все произведения Людмилы Атнакъл напечатаны в газетах и журналах Чувашской Республики и вышли отдельной книжкой, которая называется «Дни разлуки близки». Поэму Геннадий Айги считал гениальной, включил её отрывок в шведское издание «Чувашской антологии поэзии».

Летом того же 1949 года я стал записывать свои стихи на бумагу, а до этого держал их в голове, не записывал, думал, что не стоит. Потом научился играть на гармонии, чуть позже — на баяне. Оказывается, отец наш в молодости играл на мандолине и балалайке, бабушка его со стороны матери Акулина Алексеевна придумывала слова и мелодии к ним и сама же их напевала. Потом, много лет спустя, два сына отца, Петя и Володя, окончили музыкальный факультет по классу баяна и фортепьяно, а младший стал композитором, написал немало песен и на мои слова.

В средней школе я окупнулся в мир русской речи. У нас в деревне не было ни радио, ни кино, ни русских людей — нигде не услышишь русскую речь, а здесь всё есть, не ленись, прислушайся, приобщайся, изучай и научись говорить по-русски! И я научился, заговорил, не сразу, конечно: сначала — сносно, а потом — более-менее, и в девятом классе, в 1956 году, на русском языке писал уже стихи. Случилось это, видимо, потому, что я ... влюбился, и, разумеется, — в русскоязычную девчонку. Она «тянула» на золотую медаль: получила её или нет — не могу сказать, так как после окончания школы я поступил в Чистопольское медицинское училище и «любовь» свою больше не встречал — говорили, будто бы она стала служить в госбанке кассиром.

В феврале 1959 года, на последнем курсе училища, в Чистопольской городской газете я впервые напечатал

стихи, написанные мной на русском языке, но посвящённые уже другой русскоязычной красавице, любви к которой тоже оказалась безответной. Вот с этих самых пор и пишу на двух языках, являюсь как бы двуязычным, пишу, ни на что не претендуя, как Бог на душу положит.

Не так давно критик Агнер Хузангай (сын поэта) спросил у меня: «Почему ты в последнее время пишешь больше на русском языке?». Я ответил: «И на русском, и на чувашском — в равной мере. Бабушка моей матери Дарья из деревни Барское Енорускино была русской. Когда во мне «заговорят» русские (славянские) гены, пишу по-русски — со школьных лет так. Когда «говорят» чувашские, — «светясь и бунтуя», слагаю стихи на родном языке».

В средней школе я написал около тридцати «русских» стихотворений, назвал цикл «Юные грёзы».

В предисловии к сборнику «Отзвуки» (2002), который составлен из стихов из юношеской лирики 1956—1962 годов, сказано, что я выдающийся поэт (наверно, автор пошутил) и что уже с самого раннего возраста не терпел суетности и будничного мельтешения, далеко смотрел, высоко думал и глубоко чувствовал; что начал писать с восьми лет, стал печататься в чувашской республиканской печати с 1956 года и всегда хотел казаться взрослее своих лет: «Я молодой да ранний, — писал в стихотворении «Ожидание», — об этом не знает никто. Мне бы — зрелость, мне б — возмужание, вот чего ожидаю всегда...».

В таком же духе автор продолжает и дальше. «Хоть и смущала иногда разница, — говорит он, — хотел быть равным таланту своему, а не возрасту. Поэт не страшился быть молодым да ранним, а боялся быть молодым да поздним, то есть и в тридцать лет ходить в молодых поэтах, а то и — в пятьдесят, всю жизнь. Это же беда! И он рано вырослел. Этому, правда, сильно способствовали и тяготы послевоенного времени в стране, особенно на селе...».

Насчёт таланта, может, и преувеличено, а вот насчёт желания скорее повзрослеть нет никакого преувеличения,

всё — сушая правда. Не только я хотел, хотели все мои ровесники. Время было такое.

В школьные годы я подготовил на чувашском языке большую рукопись, назвал её «Чистый свет», 14 авторских листов, более 450 страниц (1949—1957 годы), куда вошли более 250 стихотворений, 4 поэмы, одна повесть, несколько новелл, очерк, рассказ. Первые две поэмы-сказки — 1952 года рождения. Первый рассказ «сотворил» в июне месяце 1953-го, когда пас на лужайке гусей. Первую повесть («Деревенские ребята») начал писать осенью 1953 года и закончил весной 1957-го. Лирические поэмы «По велению любви» и «Первые бури» писались в 1956—1957 годах. Теперь, кроме повести, почти всё издано. Повесть при советской власти напечатать было невозможно, затрагивалась тема «колосьев», голода в деревне сталинского времени, стукачества, концлагерей. Наследники Сталина сидели и в издательстве, и в газетах и журналах, и в облите (в цензуре), и в ОК КПСС, ничего «крамольного» не пропускали. Главное преступление Сталина не только в том, что по его приказу арестовывали и расстреливали. Его не меньшее преступление — моральное растление душ человеческих. Наследники и теперь занимают высокие посты. Теперь они перекрасились, именуют себя демократами; цензура формально не существует, а на самом деле — существует, никуда не делась, всё зависит от того, кто содержит СМИ и издательства и «заказывает музыку»: кто зависим от хозяина, тот ему и подчиняется. Отсутствие цензуры в Чувашской Республике только видимость, фикция.

Цензура послесталинская была изошрённая и действовала при помощи целой системы микроскопов, луп, идеологических сканеров, скальпелей, ланцетов, пинцетов. Иезуитство цензуры было утончённым. Цензура состояла из цензуры как таковой и из самоцензуры. Была самоцензура до написания, когда чувство самосохранения — одновременно спасительное и позорное — не позволяло даже нацарапать пером то, что таилось в душе. Была и самоцензура, которая заставляла выкидывать уже написанное.

Партийно-комсомольская бюрократия, став коллективной цензурой нашей поэзии, постепенно эволюционировала до тончайшего понимания каждого поэтического нюанса.

В 1990 году молодёжная газета Чувашии «Молодой коммунист» считалась самой демократичной, первой стала писать о проститутках, всячески заигрывала с юными читателями, тираж издания превысил 100 тысяч экземпляров.

Я, пишущий «мятежные» стихи, сии произведения долго никуда не мог устроить, не принимали, потом, наконец-то, «Молодой коммунист» взялся публиковать. Но, когда 14 февраля того года в шестом номере стихи вышли, я так поразился, что на мгновение аж потерял дар речи, так как все мои «мятежные» стихотворения были жестоко острижены и кастрированы. Вот даёт «МК»! — сумел промычать я только, — ничего себе газетка, настоящая трибуна свободомыслия и гласности, если даже такую строфу, как

*Нас держали и держат за горло  
благодетели разных времён.  
Наг и нищ мой народ; холод, голод  
под литавры всегда терпит он,*

выкинула. Хочется спросить: разве то, что сказано в строфе, неправда? Чего же тогда играть-то в шуры-муры?

Лишь чуть подумав, я понял: какой я всё-таки наивный... И вспомнилось чьё-то высказывание о том, что все начинавшие как реформаторы правители России лишались почвы под ногами, когда теряли взаимопонимание с либеральной интеллигенцией, поддерживавшей их реформы, и начинали опираться на правые силы, которые их затем предавали. Так было с Хрущёвым, и так же будет со всеми правителями России, которые станут попирать нашу интеллигенцию — либо своим хамством, либо своим равнодушием, что, по сути своей — то же хамство.

Самая страшная опасность в истории каждого народа — несоответствие между жизнью внешней и внутренней. Так было при большевиках, при советском режиме.

Внешняя автобиография ничего не означает без автобиографии внутренней: автобиографии чувств и мыслей, а вне истории своего родного народа нет поэта. Творчество настоящего поэта — не только движущийся, дышащий, звучащий портрет времени, но и автопортрет, написанный так же объёмно и экспрессивно.

То, против чего поэт борется, — ненавистно многим людям.

То, за что он борется, — дорого тоже многим.

И я в своей жизни стараюсь придерживаться этого.

Я хорошо знаю, что автобиография поэта — это его стихи. Всё остальное — лишь примечания к автобиографии. Поэт только тогда является поэтом, когда он весь, как на ладони, перед читателем со всеми своими чувствами, мыслями, поступками. Для того чтобы иметь право беспощадно правдиво писать о других, поэт должен беспощадно правдиво писать и о себе. Раздвоение личности поэта — на реальную и поэтическую — неминуемо ведёт к творческому самоубийству.

Так случилось с Ухсаем и Хузангаем. Оба имеют почётное звание «народный поэт», оба — лауреаты госпремий, кавалеры орденов и медалей, авторы многочисленных поэтических книг на чувашском и русском языках. Но жизнь этих стихотворцев давно уже шла вразрез с поэзией; не обращая на это внимания, они продолжали писать, изображали себя в стихах не такими, какие они есть на самом деле. Но им только казалось, что они пишут настоящие стихи. Поэзию не обманешь, тем более, если предал кого-то, а они предали и осквернили великого сына чувашей, поэта и писателя Дмитрия Юмана. Поэзия не прощает. Предательство других людей становится предательством самого себя. И поэзия покидает их.

Умолчание о самом себе в поэзии неизбежно переходит в умалчивание о всех других людях, о их страданиях, о их

горестях. Многие советские поэты в течение долгого времени не писали о собственных раздумьях, собственных сложностях и противоречиях — и, естественно, о сложностях и противоречиях людей. Именно в это время и был выдвинут нашей критикой термин «лирический герой». По мнению этой критики, поэт должен быть не самим собой в своих стихах, а неким символом. Внешне стихи многих поэтов были автобиографичны. Там присутствовали и наименование места, где родился и вырос автор (у Хузангая — Сиктерме, а у Ухсая — Слакбаш), и перечень городов и стран, где он побывал, и некоторые события его жизни. И всё-таки эти стихи были бездушны и бесплотны. Авторы их не ощущались как живые, реально существующие люди, ибо все реально существующие люди мыслят и чувствуют неповторимо.

На мой взгляд, только в резко очерченной индивидуальности может соединиться и сплавиться воедино что-то общее для многих людей.

Сообщив сведения «внешней автобиографии», Есенин добавлял: «Что касается остальных автобиографических сведений, они в моих стихах».

Жизнь в районном центре Аксубаево и учеба в средней общеобразовательной школе сыграли огромную роль в моём человеческом и поэтическом формировании. Здесь открыл я себе первоосновы современной философии. Центральная библиотека была очень богата и книгами, и газетами, и журналами. В читальном зале имелись подшивки и чувашский изданий: из Чебоксар получали журналы «Ялав», «Таван Атӑл», «Капкӑн», из Казани — газету «Хёрлӗ ялав», и я их регулярно читал. На книжных полках можно было найти Хемингуэя, Джека Лондона, Стейнбека, Фолкнера, Экзюпери, Жорж Санд, Драйзера, Ремарка... Я уже знал о Ницше. Упивался размахом Уитмена, буйством Рембо, сочностью Верхарна, трагизмом Бодлера, колдовством Верлена, утончённостью Рильке, видениями Эллиота, Лонгфелло, «пессимизмом» восточных звёзд — Рудаки, Хисру, Хайяма, Руми, Саади, Хафиза, Джами...

Был потрясён мощью Шекспира.

Читал также Дюма, Гюго, Флобера, Стендаля, Мери-ме, Бальзака, Мопассана, Данте, Петrarку, Назона, Боккаччо, Гёте, Шиллера, Байрона, Шелли, Джалиля, Сеспеля, Митту, Сервантеса, Эдгара По, Марка Твена, Ростана, Блока, Есенина, Пушкина, Лермонтова.

Современных поэтов я не хотел читать, считал, что у них, в их произведениях настоящей поэзии нет. И я рано понял, что надо писать о своих сомнениях в себе, о своём ожидании большой любви и о разнице между подлинным и ложным, о страданиях и о горестях людей.

В газету «Хёрлё ялав» (Красное знамя) я в основном посылал стихи сатирические и юмористические и в первые два года (1956—1957) печатался там регулярно. Помню, как после дебюта почти на второй день, 6 января 1956 года, я получил из Казани довольно объёмистый конверт, откуда вынул номер «Красного знамени», органа Татарского ОК КПСС и Верховного Совета Татарской АССР и письмецо, отпечатанное на машинке, следующего содержания:

*Товарищ Егоров!*

*Ваше стихотворение «Ни унта, ни кунта» (Ни здесь, ни там) мы в газете напечатали. И написанное о курильщике, чуть подправив, подготовили к печати. А остальными не сможем воспользоваться.*

*Присылаю номер газеты. Желаю, чтобы стал большим писателем! Желаю также доброго здоровья, счастья, творческих удач.*

*В. Моисеев.*

Но мне очень хотелось печатать лирические стихи. Пока в отделе литературы был Моисеев (оказалось, что он мой земляк, из соседней деревни Савгачево), два-три стихотворения прошли, как говорится, без проблем, все были о природе и о любви.

Когда я стал учиться в медицинском училище, из Чистополя отправлял тоже лирику. Кое-что напечатали и



вдруг перестали печатать совсем. Через некоторое время мои лирические стихи стали возвращать мне с многочисленными пометками некоего И. Левукова. Основная претензия его была такова: «Нас тревожит твоя грусть. Не стал ли ты так рано стариком, дорогой? Нам нужны бодрые, зовущие вперёд стихи».

Я не стал стариком, я просто рано повзрослел. Этому типу не было дано самому ощутить состояние повзрошения, и он принимал повзрошение других за преждевременную старость. Раздумья с оттенками грусти ему казались опасным пессимизмом. Но разве подлинное раздумье вообще возможно без грусти? Бодрячество лишь создаёт видимость того, что оно куда-то зовёт. А кажущаяся беспомощным созданием грусть, если она чиста и благородна, а не мелкосентиментальна, зовёт нас вперёд и своими тоненькими хрупкими руками создаёт величайшие духовные ценности человечества. И литсотрудник газеты И. Левуков сильно ошибался, встревоженный грустными нотками моих лирических стихов, что я стал пессимистом. Но только лишь его обвинять в этом было бы несправедливо. В нашей литературной критике господствовала тогда пресловутая теория бесконфликтности. Её авторы договорились до того, что в нашей советской жизни не может быть конфликта хорошего с плохим, а только хорошего с лучшим.

Сталинская теория, что люди — это винтики коммунизма, превращаясь в практику, давала страшные результаты. Труд как символ становился выше тех, кто трудился.

Тиражи поэтических книг тогда зависели не от спроса покупателей, а от официального положения поэтов. Многие крупные поэты были в концлагерях. Некоторые поэты, такие как Ухсай или Хузангай, писали стихи или романы в стихах, рассчитанные не на успех у читателей, а на получение госпремии.

Сталинская премия, например, означала: немедленное переиздание огромным тиражом, портреты и восторженные статьи во всех газетах, какой-нибудь официаль-

ный пост, получение вне очереди машины, квартиры и, может быть, дачи.

А в Чувашии (и поныне!) ради таких благ стараются во что бы то ни стало получить почётное звание «народного поэта». Теперь его имеют уже многие бездариграфоманы. К сожалению, многие бездарные люди делали и теперь делают «литературную политику», привнося в неё всевозможные дурно пахнущие элементы, включая шовинизм, национализм, сионизм, космополитизм, антисемитизм, панисламизм.

Они не в состоянии понять, что поэтическое слово — напряжённое, многозначное, ассоциативное слово, что лирический дар — редкий дар. Что такое лирика? Это особое, горячее внимание к человеку, к любому предмету, любой вещи на земле, а не только стихи о любви. Лирика — это особое отношение к миру, его явлениям, взгляд на вещи и людей, окрашенный в личные, сердечные тона. Лирика — это лица необщее выражение, способное привлечь внимание многих. Это субъективный, индивидуальный взгляд, имеющий общее значение. Лирика живёт лишь там, где есть уважение к человеку. Она умирает, когда его достоинство попирается, когда давление на него превышает более или менее устоявшуюся норму. Лирика играет на повышение всех ценностей, разглядывает, как драгоценность, каждую крупинку жизни.

Лирика требует всех сил, всего сердца, ума, таланта. Нельзя писать стихи в состоянии опустошённости, с опущенными руками. Не потому ли даже самые печальные строки дарят нас прибавлением жизни, ощущением её полноты и осмысленности.

Самые трагические стихи написаны мной в самозабвенные минуты творческого взлёта, преодоления скорбей, освобождения от пут. Если же поэт в каждом стихотворении уверяет нас в бессмысленности и ущербности бытия, сбивая шкалу ценностей, приравнивая всё к шелухе и праху, его поэзия выдыхается, остаётся голая техника, работающая на холостом ходу. Есть, конечно, и

противоположная опасность: неумеренный, «телячий» восторг, дешёвое жизнелюбие, не оплаченное ни страданием, ни болью, ни отчаянием.

И всё-таки жизнь истинного поэта наполнена смыслом, который дан ему вместе с поэтическим даром. Вот почему он так мучается, когда стихи не пишутся: жизнь тогда обезвоживается, обесмысливается, высыхает и мертвеет.

Но какой бы «подстреленной птицей» ни представляла лирика в стихах, как бы ни «прижималась к праху», дрожа «от боли и бессилья», сама таинственная, неразложимая смысло-звуковая прелесть стиха внушает нам желание «жить и бедствовать», «мыслить и страдать».

Поэзия — душа искусства.

Лирика — его бессмертие.

Будет душа — будет и лирика.

Лирика — эта надежда человечества, вера его и любовь...

Лирика призвана обнадёжить человека, способного услышать надежду, выраженную в стихах.

Лирика — самая живая, непосредственная человеческая речь, с блестящими глазами, прямым обращением к неведомому собеседнику. Лирика добивается понимания с полуслова, полунамёка. Хочется сказать о вечно настоящем времени лирической поэзии. Она останавливает мгновение (не важно, счастливое или ужасное). И это мгновение живёт в веках, так и не отодвигаясь в прошлое. Может быть, поэтому лирическая поэзия не стареет.

Лирическая поэзия живёт сегодняшним днём, принадлежащим вечности. Лирический поэт не знает, что он напишет завтра. Садясь писать стихи, он всякий раз должен начинать всё сначала: нет ни героев, ни сложившихся между ними отношений, ни поставленного на рельсы сюжета, ни готовой строфики, ни ритмики... ничего. Более того, от стихотворения к стихотворению поэт успевает забыть, что он поэт. Да и можно ли жить с иным ощущением? «Божественный глагол» касается слуха далеко

не каждый день. Не потому ли такого сердечного накала, такой огромной энергетической затраты требуют эти полтора-два часа счастливого труда? Странное дело — это капризное существо (лирическое стихотворение) с его как будто мотыльковым веком оказывается самым долговечным, нестареющим созданием человеческого духа.

Не надо приглашать лирического поэта на другую, более солидную стезю, перейти на прозу, например. Лирика несовместима с пересказом, фрагментарна, непредсказуема, «моментальна» навек. И прочесть её могут лишь те, кто не ищет в стихах сюжета и нравоучения, кто наделён от природы даром тайнослышанья, для кого не закрыт сокровенный, поэтический смысл вещей, кто не страдает «эстетической глухотой».

Поэзия призвана испытывать сердца гармонией.

При чистопольской городской газете «Ленинский путь» работал литературный кружок, возглавлял его и вёл занятия Чиганаев, литературный сотрудник. Сам он писал прозу — короткие рассказы, а мы, остальные, я, студент медучилища, Паршин, токарь часового завода, Макаров, дирижёр русского драмтеатра, Альтшулер, работник городской почты, и Иванов, терапевт первой горбольницы, все писали стихи. Из всех членов кружка я был самым молодым, мне не исполнилось ещё и семнадцати лет — в этом 1957 году я не выступал со своими стихами, всё больше слушал других да помалкивал. Стихи мои были грустные, даже печальные. Мне не хотелось, чтобы их «разбирали», но в конце 1958 года Володя Паршин меня уговорил, и я выступил. Присутствующим понравились три моих стихотворения: «На Камском Устье», «Костёр» и «До свиданья...», остальные два, «В родном краю» и «Городок», — разгромили, сказали, что «не ново». Володя поздравлял меня «с невиданным досель успехом», шутил или говорил серьёзно — я так и не понял. Чиганаев спросил: «О какой сгинувшей Булгарской земле речь?». Я ответил: «О Волжско-Камской Булгарии, прямыми потомками

которой мы, чуваша, и казанские татары, являемся, это давно доказано мировой наукой». Все страшно удивились, они, оказывается, об этом ничего не знали. Паршин свои стихи в этой газете не печатал, считал ниже своего достоинства, так как временами появлялся то в журнале «Коневодство», то «Пчеловодство», то «Растениеводство», то ещё где-то. Он собирался поступить в Литературный институт, а пока учился в вечерней школе рабочей молодёжи. Мой друг, русский парень, был старше меня на девять лет. Косте Макарову было под сорок, Исай Альтшулер и Аркадий Аркадьевич Иванов были старики. Кроме Чиганаева, все они были во время Отечественной войны эвакуированы в город Чистополь, а после войны куда-то не уехали, остались здесь же. Доктор Иванов в одно время учился в Литинституте, но его оттуда исключили, за что не знаю, потом он закончил Медицинский институт. У него никого не было, он жил один, в свободное от работы время писал стихи, меня называл «сынком». Исай был из Могилёва, очень хороший был человек, и он жил один, ему было под семьдесят, писал стихи на идиш и на русском, пел еврейские народные песни, очень любил Шолома Алейхема и Пастернака, особенно восторгался сборником «Сестра моя жизнь» и советовал мне прочитать эту книгу. В 1959 году всю зиму мы все вместе выступали то в Доме учителя перед школьниками и учителями, то в Краеведческом музее перед краеведами, то в Доме культуры водников перед воспитанниками ремесленного училища. Нас приглашали и в городскую тюрьму, но я, несмотря на то что она стояла прямо напротив дома, где я снимал квартиру у тётки Дуси, пожилой русской женщины, к зекам не ходил, было как-то неловко, потому что перед самой войной в этой тюрьме по статье 58, пункт 14, сидел мой отец, «враг народа» Егоров Павел Гаврилович!

В Чистополе, кроме медицины, я самостоятельно глупинно изучал русский язык, учился русскому и у хозяйки квартиры, которая говорила на сочном, живом, красочном, очень образном русском языке, пересыпанном

поговорами и поговорками. В молодости она работала грузчиком на чистопольских мельницах, таскала на своём горбу наравне с мужиками тяжелейшие мешки с зерном, с мукой и научилась таким бранным тирадам и мату, что я диву давался: вот это да! вот это мат так мат! О, этот великий и могучий русский язык!

В Чистополе у меня был ещё один друг, Колчин Алексей Александрович, кандидат биологических наук, бывший зек, недавно реабилитированный. Он работал в совхозе пчеловодом, в газете «Советская Татария», которая издавалась в Казани, печатал подвальные научные статьи о пчёлах, а жил у солдатской вдовы, родственницы тёти Дуси по улице Комсомольской.

От Колчина я впервые услышал и узнал о концлагерях и ужаснулся. Отей мой ничего о них не рассказывал, видимо, нельзя было рассказывать.

Алексей Александрович на лесных разработках повредил ногу и заметно хромал, ходил с палкой. Он меня приглашал к себе в гости, угощал мёдом. Попивая ароматный чай, мы беседовали о медицине, пчеловодстве, биологии и... о поэзии Есенина. Он очень его любил, многие стихи и поэму «Чёрный человек» знал наизусть. Считал этого поэта русским гением. Когда слушал мои стихи, удивлялся тому, что я Есенину не подражаю, потому как почти все юные поэты ему тогда подражали. Узнав, что я ещё в средней школе хорошо знал поэта, он спросил, каким образом мне удавалось избежать подражания. Я сказал, что я сам большой, что не было нужды подражать кому-то. Мой ответ очень веселил друга, и он от души смеялся и хлопал меня по плечу.

Потом он уехал. Куда — никто не знал...

В медицинском училище ко мне благоволила чета Ивановых. Лидия Ивановна преподавала русский язык и литературу, а Леонид Константинович — историю СССР. На приёмных экзаменах по обоим предметам я получил «отлично», и Ивановы меня запомнили, пригласили к себе

домой в гости. Когда разговорились, я узнал, что они были близкими друзьями чувашского поэта и прозаика Рзая Виктора Ефремовича (1906—1970). В другой раз рассказали о том, как травляли его в Чувашии: обзывали в верхах «кулацким звонарём», произведения не печатали, книг не выпускали, выгоняли с работы и никуда потом не принимали, перед войной он был вынужден искать работу в Татарии, устроился преподавателем русского языка и литературы в медучилище. Помогли Ивановы, так как были однокашниками по Казанскому педагогическому институту. Тогда же там учился и Петя Казанков (будущий чувашский поэт Хузангай), который внешне прикидывался другом Рзая, а внутренне дико завидовал поэтическому дару его и люто ненавидел «друга». И так — всю жизнь: внешне — друг, внутренне — недруг. Классик хорошо, талантливо умел «концы прятать в воду», «не любил оставлять после себя следов». После 1938—1939 годов, когда он, предав Алексея Милли и других «друзей», «вынырнул», не попал в ГУЛАГ, в протоколах следствия кое-какие «следы» всё же таки остались, но их «стёр» Семён Ислюков, тогдашний Председатель Президиума Верховного Совета Чувашской АССР, получивший доступ в годы «перестройки и гласности» к секретным документам в КГБ, который был закадычным другом и почитателем завистника и славолюба, мечтал соорудить ему в Чебоксарах памятник и издать собрание его сочинений и т.д., а с «пятном» на имени делать всё это было рискованно. Теперь в этих документах — «дыра». Никого сие не волнует и не интересует, есть дела поважнее, тем более, что к сегодняшнему дню и памятник поставлен, и собрание сочинений в шести томах издано, есть Дворец культуры, улица, деревня его имени, есть музей в деревне...

В 1997 и 2005 годах в газетах «Хыпар» и «Советская Чувашия» вышли фальшивки Изоркина и Ксенофонтова, продиктованные Атнером, об «оправдании судом» Хузангай в августе 1939 года.

А когда в феврале 1970 года умер Рзай, запрещено было давать в газетах и журналах некролог, объявить о его смерти

по чувашскому радио. Из писателей проводили в последний путь великого мученика национальной литературы только я да поэт Стихван Шавлы, остальные чувашские поэты и писатели не рискнули ослушаться «верховных».

В своей жизни я много болел и подался в медики для того лишь, чтобы узнать о своих болезнях намного больше, чем до этого знал, и умело от них предохраняться. Годовалым ребёнком я чуть не умер от воспаления лёгких, в десять лет меня ужасно мучили галлюцинации, в девятом классе в осеннюю слякоть и холод простудил горло и почки, а в апреле 1959 года перед государственными экзаменами в училище попал в первую горбольницу к Аркадию Аркадьевичу с диагнозом нефрит и функциональное нарушение работы сердца.

Старый доктор, опытнейший врач, стал лечить меня как родного сына. Я от плохого питания и хронического недоедания насквозь просвечивался: кожа да кости, а мяса никакого. Перво-наперво он запретил мне читать и писать, велел сестре следить за моим питанием, потом стал применять ко мне новый метод лечения, добывал для меня более лучшие препараты и по вечерам подолгу просиживал у моей койки, рассказывал разные забавные истории из своей жизни или из жизни знаменитых людей, подробно расспрашивал о моих родителях, предках, о среде, в которой я рос, о деревне и её обитателях, о их тяжёлой, скудной жизни (в нашем селе тогда не было ни радио, ни электричества, ни фельдшерского пункта, ни кино; все избы, в том числе и клуб, были крыты соломой; была всего одна автомашина-полуторка). Бывший московский потомственный интеллигент никак не мог понять и поверить в то, что я, возрастая в такой среде, настолько осведомлён обо всём, особенно в литературе и психологии, что могу вести с ним, с многообразованным, воспитаннейшим человеком, разговор на равных, на «уровне века». Когда я сказал, что много занимался самовоспитанием, самосовершенствованием, укреплением силы воли, он хотел узнать — по чьему совету. Я сказал: «Ни по чьему». Тогда



доктор промолвил задумчиво и тихо: «Миша, дорогой мой, ты не от мира сего, тебе очень трудно будет жить, пробывать себе дорогу к вершинам жизни, тебя могут погубить...». Я с ним согласился, но уверил его в том, что буду стремиться к этим вершинам, несмотря ни на что. Говоря о вершинах, Аркадий Аркадьевич, конечно, имел в виду вершины духовные, творческий взлёт, его вершины... Я ему открылся, что, как только отработаю положенные два-три года, буду поступать в университет, а не в медицинский институт. Он это одобрил. Я сдержал своё слово — в 1962 году поступил в Казанский государственный университет на историко-филологический факультет.

После окончания училища я в сёлах своего района около двух лет работал заведующим фельдшерско-акушерским пунктом, потом комсомольцы родного колхоза избрали меня освобождённым секретарём комитета комсомола. Мне более трёх месяцев не платили ни копейки, ночью, подкараулив, били кастетом по голове (Федоров и Михайлов), и я уехал в соседний район, стал работать в редакции газеты «По ленинскому пути» литературным сотрудником. Хотя газета выходила на русском языке, мне нетрудно было в ней работать: я писал корреспонденции, зарисовки, репортажи, очерки, фельетоны, обзорные статьи и, конечно же, стихи. Особой творческой удачей доуниверситетского периода своей жизни считаю поэтический цикл «Восточные мотивы» (1962, январь—июнь).

По поводу «мотивов» интересно высказывание Афанасьева: «В начале 1962 года, — вспоминает он, — мы, юные поэты (мне было около двадцати лет, Мише — двадцать один), в районном центре Черемшан влюбились в родных сестёр: я — в Валу (16 лет), а он — в Шуру (18). Чуть погода, девушки уехали в Ташкент, и как-то раз Валечка прислала мне в письме лепестки тюльпана. Я сразу же воспламенился и написал стихотворение «Тюльпаны». Оно моему другу очень понравилось: оказывается, и ему Шурочка прислала такие же «алые, лиловые листочки», и Сениэль (тогда ещё Михаил Егоров, лишь через года два из

гриновской «Бегущей по волнам» появился «Сениэль») сразу же сочинил в подражание «Ветер с юга» и «Тюльпан». Вот с них-то и начался цикл «Восточные мотивы». Над ним молодой стихотворец работал долго и упорно, вплоть до поступления в Казанский университет в 1962 году. Он хотел сделать цикл менее «любовным» и более «трагичным», придавая стихам привкус «восточного пессимизма», «восточной философии»:

*Что видать, жизнь моя, впереди?  
Сколько лет ищем счастья без толку,  
потеряв все надежды в пути.  
И вот тут ликом встал я к Востоку...*

В этом — главная мысль «Восточных мотивов».

В цикле лирический герой погибает. Надо полагать — не телесно, а лишь духовно... Во всех двадцати стихотворениях, составляющих поэтический цикл, сквозит то, что «не вечны мы, не вечна жизнь, сам бог всеправедный не вечен, творя века». Это и есть пресловутый «восточный пессимизм». Придумал термин, кажется, Гёте...».

Трудно не согласиться с другом, всё так и есть.

Казань впервые я посетил летом 1958 года — как только кончились экзамены в училище, сразу сел на паром. Утром другого дня я уже сидел в редакции газеты «Красное знамя». Встретили меня весьма радушно. Особенно был рад со мной познакомиться редактор Скворцов Исаак Васильевич, подвижный такой и весёлый старичок. Первым делом он стал хвалить мои очерки и фельетоны, опубликованные в этом и в прошлом году на страницах газеты. Очень ему понравились очерк «Человек с чуткой душой» о сельском фельдшере и фельетон «Милиционер без погон» о сельском проходимце. Оказывается, Моисеев давно не работает в редакции, уволился по собственному желанию, а Левукова пришлось уволить из-за чрезмерного употребления алкоголя, проще говоря, из-за пьянки. Вместо него

теперь такой же алкаш, Юдин. Редактор сразу же предупредил меня, чтобы я никому денег не давал и ни с кем никуда не ходил. Хотел взять меня к себе домой, но я постеснялся и вежливо отказался. И он оставил мне ключ от своего кабинета и велел из Дома печати не выходить на улицу: если выйду — обратно не пустят. Показал, где включить электрочайник, из буфета принёс булку, масло и колбасу, сахар и, пожелав приятного аппетита, удалился.

На мягком кожаном диване редактора я спал две ночи. Исаак Васильевич из моих стихов выбрал несколько сатирических и юмористических стихотворений, а из лирики взял только одно, и то — нехотя. Сказал, что свирепствует цензура, лирику называет пессимизмом: «Не будем дёргать kota за хвост», — заключил редактор. И я с ним согласился.

На прощанье Исаак Васильевич дал мне множество заданий и поручений и советов, познакомил с Константином Петровым, завотделом партийной жизни, с человеком не пьющим и не курящим и с чужими жёнами не гуляющим, потому как своя жена — во! Поповская дочка, поповна, в бога верующая.

Кроме того, Петров — начинающий писатель. Прозаик.

Во второй раз в Казань я приехал летом, в третий раз — осенью 1959 года. Меня, как активного и способного селькора района, послали на третий съезд рабселькоров Татарии. На съезде Петров подарил мне свою «первую ласточку», тоненькую книжечку рассказов «Лина», выпущенную Чуваши книгоиздатом в этом году, и познакомил с новым литсотрудником газеты. Им оказался Порфирий Афанасьев, восемнадцати лет, в этом году окончивший в родной деревне Ново-Ильмово среднюю школу. Оказывается, и он был активным селькором. Писал стихи. Мы сразу же подружились — друг был из соседнего Черемшанского района. Расстояние между нашими деревнями — 60 километров.

В четвёртый приезд, в июле 1960-го, в редакции газеты, переименованной из «Красного знамени» в «Ленинское знамя», я познакомился с Юрием Григорьевым, студентом

Казанского университета. Во время каникул он заменял отпускников. Тоже писал стихи. Мы подружились. Он повёл меня на ночлег к себе в общежитие университета.

Когда приехал в пятый раз девятого сентября того же года на три месяца, чтобы повысить свою квалификацию медработника в Казанском медицинском училище, Порфирий предложил мне жить с ним вместе у частного по улице Волнистая. Хозяин комнатухи был чуваш из нашего района, за проживание плату брал совсем немного. Друг теперь был студентом первого курса истфилфака пединститута.

Писатель Алексей Талвир с 25 августа 1960 года работал в редакции газеты «Ленинское знамя» в качестве внештатного корреспондента, одновременно возглавлял секцию чувашских писателей при Союзе писателей Татарии. Юрий и Порфирий, как и Петров, «подающие надежды» молодые писатели, уже были приняты в секцию. Они повели меня туда и познакомили с Талвиром. Он жил в Казани в ссылке. Его выслали из Чебоксар, осудив по статье 139 УК РСФСР условно с трёхгодичным испытательным сроком, за автомобильную катастрофу.

Однажды весной 1962 года Петров, прилетев ко мне в Черемшан из Казани на кукурузнике, повёл меня на поля к сеяльщикам, а по пути рассказал интересную вещь, «секрет»: оказывается, Порфирий «опасный парень», у него врождённый талант к интригам, способность организовывать внутри коллектива оппозицию против начальства и, в конце концов, скинуть его с поста. Именно так случилось со Скворцовым Исааком Васильевичем, он возглавлял газету с конца тридцатых всегда успешно, а когда принял Талвира на работу, стал «хромать», и был низложен. И сделал это «низложение» Порфирий со своими единомышленниками. В середине 1959 года Скворцов прямо со школьной скамьи принял его на работу, помог поступить в пединститут, в середине же (почти) следующего года благодетель был скинут. Хотели на его место посадить «своего», но не вышло — Татарский ОК КПСС из бузульминских щелей

вытащил некоего партийного таракана, такого же юркого и трусливого, с трудом говорившего по-чувашки и никогда не написавшего ни одной заметки.

Если доказать то, что не досказал или умолчал Петров, или об этом он просто не знал, выявляется такая картина: когда началась Отечественная война, Петр Казанков поступил на работу к Скворцову разъездным корреспондентом; сидя в одиночной камере без окон целый год, арестованный за буржуазный национализм в 1938 году, он почувствовал, что у него ослабло зрение; до апреля 1942 года его на войну не брали, а когда немцы стали штурмовать Сталинград, возникла угроза — заберут! И Петр Казанков взмолился: Исаак Васильевич, спаси, сделай бронь, похлопочи! Если бы это зависело только от Скворцова, он бы, конечно, сделал, но... И Казанков очень обиделся и затаил к шефу сильнейшую ненависть, можно сказать, на всю жизнь. После войны более десяти лет ждал удобного случая или момента, но до 1960 года не смог отомстить; когда в начале того года приехал из Чебоксар проводить поэтический семинар с молодыми чувашскими поэтами, его познакомили и с Порфирием; каким-то внутренним чутьём он уловил, догадался, что молодой стихотворец тот самый, кто ему нужен, пригласил его к себе в номер гостиницы, угостил, взял рукопись поэта с собой в Чебоксары, обещал продвинуть. В следующий приезд научил, как готовить заговор — куда писать, к кому ходить и т.д.

Примерно так рассказал мне Исаак Васильевич за чашкой чая, когда я зашёл к нему на квартиру, будучи уже студентом университета, предупредил, чтобы я был с Порфирием осторожен. Через какое-то время после знакомства, когда я более близко сошёлся с Талвиром, я сообщил всё это ему. Он рассмеялся и сказал, что я знаю, узнал лишь давно всем тогдашним людям известное, для них, сказал он, это секрет полишинеля, поведал о том, как «чувашкин Пушкин» очаровал и заморозил старую деву Зою, Председателя Президиума Верховного Совета

ЧАССР и получил от неё в 1950 году почётное звание народного поэта.

Как спасая от ГУЛАГа — тоже рассказал... Хузангай обожал Сталина. Оды и гимны, написанные им в тюрьме и вне тюрьмы, возносящие до небес тирана и палача, читать без омерзения невозможно, зато они не дали ему «утонуть», благодаря им он «выплыл».

Когда я в мае 1964 года в журнале «Вопросы литературы» прочитал автобиографические заметки Хузангай «Призвание — это одержимость», глазам своим не поверил: он ли это пишет или кто-то другой? Чёрным по белому было написано, что «народный поэт», оказывается, никакой не «губитель светлых душ», а, наоборот, страдалец, жертва и вообще великомученик. Конечно, о том, что он искусный и хитрый фарисей, лицемер, царедворец, и речи быть не могло. И кредо его: не пойман — не вор! Брато-продавец, трус, лживое чёрное сердце, ловкий клеветник, умеющий концы спрятать в воду, обладатель правдоподобного фальшивого слова, пресмыкающийся как червь перед обкомом КПСС — вот он кто, «не пойманный вор».

В своих «заметках» без зазрения совести сей «вор» пишет: «У нас было слишком много клеветников. Больших и малых. Вольных и невольных. Им несть числа. У нас всегда были, есть и, к сожалению, ещё будут карьеристы, ничем не брезгующие на пути к своим подлым целям. Но если ты художник и тоже встал когда-то на путь клеветы, как ты можешь носить такой груз на своей совести и продолжаешь творить? Как можешь таить в душе, словно в чемодане с двойным дном, и доброе, и злое?».

И, действительно, как же ты мог, написав на поэта Евтушенко в апреле 1963 года в газете «Литературная Россия» клевету, которого власти травили тогда за стихотворение «Бабий Яр», «носить такой груз на своей совести», писать свои «заметки» о стыде и совести клеветников? Ты там пишешь: «В самом деле, как понимать, когда Евтушенко тянет от распятого Иисуса Христа до Анны Франк как будто единый кровавый след трагедии еврейского

народа?». Так и надо понимать, а ты, вместо того, чтобы заступиться, оклеветал молодого поэта.

Насчёт карьеры тоже — одно лицемерие, как будто мы не знаем, какой ты был «не карьерист».

Хочется после этого «стыдить» тебя твоими же словами: если ты честный человек, разберись в своём внутреннем мире, разберись во всём. Ты хотел «правдой и неправдой» обеспечить себя бронью, чтобы не идти на фронт, обивал пороги..., как тебе не стыдно, после этого, вымучивать трескучие вирши о родине, победе, партии и народе, моральной чистоте!

С вершины сегодняшнего и особенно завтрашнего дня всё твоё «творчество» кажется нам большой черновой тетрадь с экспериментами, исканиями, ошибками, а точнее: вся «тетрадь» — подражание Пушкину, Блоку, Маяковскому, Фету, восточным поэтам, Северянину, Есенину, Твардовскому, Алигер, Доронину и т.д. и заимствование фольклора татарских чуваш, с очень малой долей безупречного, совершенного...

А «таракан» так повёл дело, что газета стала чахнуть, и вскоре зачахла — в апреле 1963 года татары её закрыли, удалось возродить лишь через тридцать лет под новым названием «Сувар», куда со своими виршами сразу же устремился Порфирий и почти сразу стал там своим человеком, «чувашским соловьём». Так писала о нём газета в обширной статье.

Вплоть до поступления в университет (в доуниверситетский период), так же как над циклом «Восточные мотивы», я «долго и упорно» работал и над поэмой «Уяв ёшши» (Поляна уява), завершил её перед отъездом на вступительные экзамены.

Уяв! Что же такое уяв? Уяв-синьзе — между симеком и сенокосом свободное от усиленных трудов время, языческий праздник, который продолжается недели две-три. Это и не балет, и не опера, это — жизнь... Что оперы, что романсы?! Разве передадут они этот аромат вечно молодой весны... Разве можно выдумать такую песнь?

Идя на уяв, парни и девушки надевали свои лучшие наряды. Хороводы с играми в основном происходили вечером и ночью, провожало же до следующего года уяв всё село — и стар, и млад. Приходили на уявы и русские девушки с парнями из близлежащего села Русская Чебоксарка. Девушки-русачки охотно надевали платья и головные уборы (тухья) чувашек, а те, в свою очередь, шеголяли в сарафанах и кокошниках.

Прощались с уявом днём на солнечной поляне в лесочке. Играли на баяне я и другой парень поочередно. Девушки плыли словно лебеди белые, а парни были похожи на молодых орлов, и впереди у них была целая жизнь. На уявах ссор и драк никогда не возникало.

Вот об этом, и не только об этом, я написал не этнографическую, а лирическую поэму, поэму о моей любви к девушке и к моему родному чувашскому народу. Поэма довольно большая, в ней около 1600 стихотворных строк, напечатана она на чувашском языке в сборнике стихов и поэм «Тревоги матери нашей», в журнале «Родная Волга», а на русском языке в переводе Н. Кондаковой в сборнике «Лунные ночи», изданном московским издательством «Современник» в 1983 году.

Судьба родного народа волновала меня с ранней юности. В 20-ти километрах к западу от нас находилась когда-то одна из столиц Волжской Булгарии Пүлер (ныне Билярск), от которой остались только валы и рвы. Из-под Билярской Горы бьёт источник Валема Хузя, напоминая нам, потомкам, о страшной трагедии, постигшей наш народ более семи веков назад. Он кажется нам источником вечных слёз тысяч и тысяч болгар, погибших в битвах с татаро-монгольскими захватчиками.

Чуваши со всех мест совершали паломничество в этот город к источнику Валема Хузя, воду из него брали домой и ею лечились от всех болезней — считалась она святой водой, простояв в бутылке целый год за иконой, не портилась. Теперь установлено, что в её составе имеется серебро.



В детстве неоднократно бывал с бабушкой там и я. Видел, как устраивались недалеко от источника шумные языческие празднества с жертвоприношениями, с поминовением усопших, с хороводами и играми молодёжи. Потом всё это власти запретили, паломников разгоняла милиция, рядом с источником построили свиноферму.

В песнях слышались названия болгарских городов Пўлера, Суvara, Булгара, имена царей, мужественного патриота Валема Хузя. Историческая память народа обволакивалась причудливыми легендами и преданиями. Разговоры взрослых о давным-давно прошедших веках, их сказания и песни покоряли моё детское воображение. Возле нашей деревни над рекой находилось болгарское кладбище, и летом 1957 года, сидя недалеко от него на берегу, я сочинил первое стихотворение на эту тему «Мой корень». Для меня очень ценна наша чувашская история, наши «болгарские древности». И после я часто писал об этом, и я даже совершил ещё одно паломничество на святую землю Пўлера. Теперь там очень обустроено. Для источника построен павильон, вода течёт теперь из специальных серебрястых кранов. На Биляр-гору ведёт ажурная серебрястая лестница. Оборудованы места для жертвоприношений, молений, для трапезы и отдыха. Никто никого не разгоняет. Свиноферму убрали. Кругом асфальт. Дорога к Пўлеру и источнику отличная. Теперь сюда приезжают туристы не только из России, но и из многих зарубежных стран. Обо всём этом постарался президент Минтимер Шаймиев.

Пишу, как и прежде, и на русском, и на чувашском. В газете «Хыпар» напечатал целый цикл «болгарских стихов» из двадцати стихотворений — «Пўлер кёввисем» (Билярские мотивы), в «Советской Чувашии» — на русском языке стихотворения «Часы прозрений», «Валем Хузя», «На Биляр-горе», «Святой ключ», «Ночные тени» и другие, в «Литературной России» — «Матерь Чувашская», «По весне...» и так далее, в сборнике «Лунные ночи» — «Питабай и Аспарух», «Мой корень», «Ага-Базар», «В Суваре»...

Булгарская тема звучит также в очерке «Рождение песни» (1960), в повести «Бандероль» (1974) и в балладе «Савраш батыр» (1976).

Следовало бы сказать несколько слов о доступности или о недоступности некоторых поэтических произведений, особенно — лирики.

Ещё на заре моей поэтической юности, в 1956 году, один мой друг, любящий мои стихи, посетовал, что балладу «Летучий Голландец» он не понимает, что она для него недоступна. Я рассмеялся и сказал ему: «Вместо Летучего Голландца поставь Душу Поэта и всё будет понятно». Он «поставил» и балладу прекрасно понял, только сказал: «Ты в конце говоришь, что хочешь самоубиться, это страшно, Миша, нельзя так». Я ему ответил: «Если твою поэтическую душу никто не понимает, никто не принимает близко к сердцу, зачем жить?».

Место поэзии — в сердце человека, любящего стихи. «Над вымыслом слезами обольюсь» — вот насущно необходимая, всегда злободневная и вечная человеческая потребность. Страшно было бы замутить эти слёзы. Вот почему поэзия нуждается в охране, как природа и памятники культуры. В охране от фальши, цинизма и конъюнктуры.

Поэзия — сложное искусство. Стихи создаются не для первого встречного, они пишутся для человека, способного их прочитать. Умение читать стихи — особый дар. Для этого вовсе не обязательно быть поэтом или филологом. Есть немало поэтов и филологов, даже главных редакторов, не понимающих стихи. Таким был, например, главный редактор Чувашского книжного издательства А. Галкин. Человек с поэтическим слухом встречается в любой среде. Я не думаю, что стихи должны быть понятны всем и всеми любимы. Это было бы, на мой взгляд, проявлением неуважения к людям, с их самыми разнообразными способностями и интересами. Оборачивается это требование неуважением к поэзии.

Но поэзия демократична в том смысле, что открыта всем, кто её любит по-настоящему и растёт вместе с нею,

не останавливаясь посреди дороги, не полагаясь на старые заслуги и представления прежних, молодых своих лет. Поэтический слух «растёт как полуночный цветок», приспособляемый к новым орудиям поэтической речи. Так называемые «сложные» стихи наших современников читатель в 21 веке будет «щёлкать как орехи». А разве Пушкин, Баратынский, Тютчев или Сеспель просты? Их простота кажущаяся.

Смысл в современных стихах растёт и ветвится, как большое дерево. Не все стихи открываются нам сразу, но, как ни странно, и непонятные притягивают к себе. Они бывают так обаятельны, что мы, ещё не понимая их, заучиваем, твердим наизусть, а в один прекрасный день, оказывается, они, растворившись в нашей крови, дошли до нас едва ли не в обход сознания. Это, разумеется, бывает лишь тогда, когда стихи — не фокус и не ребус, не оптический обман, а когда поэт отвечает за каждую строку, когда она обеспечена настоящим содержанием.

Ощущение новизны, опирающейся на многовековую традицию, — вот необходимое условие удачи поэта, когда его нет — он терпит поражение.

Процент настоящих читателей поэзии неизменен, он во все эпохи одинаков. Отпадают случайные читатели, принимавшие всё подряд, без разбору.

Лучшая, гуманная и мыслящая часть человечества тысячелетиями мечтала о духовной свободе, особенно дорога была эта мечта творческим людям. Во всём мире, и у нас в России тоже, добивались духовной свободы лучшие представители нации, лучшие, так сказать, сыны и дочери трудового народа, трудовой интеллигенции, в частности. И у России тоже — неслыханный трагический опыт... Свобода, выросшая на почве едва ли не рабского угнетения и бесправия. Свобода — это, оказывается, способность осознать своё положение, использовать его в познавательных, интеллектуальных целях. Раб, разрывающий свои цепи, видится мне за этим ежедневным интеллектуальным напряжением.

Не жалейте нас. Да, мы были поставлены таинственной случайностью рождения в эти жестокие обстоятельства: не всем повезло родиться в 20 веке вне совдепии. Не всем свобода досталась как приданое, как наследство, есть места на земле, где её обретают громадным усилием духа. Нет, мы не гордимся страшным опытом, выпавшим на нашу долю, не предпочитаем его другому, счастливому, нормальному... Но нас не спрашивали о том, где нам хотелось бы издать свой первый крик, впервые продрать глаза.

Я не люблю эту совдепией, её историей, я горжусь Иваном Яковлевым, Никольским, Алюновым, Юманом, Милли, Сеспелем, Рзаем, Миттой, Талвиром, Эльгером и многими, многими другими людьми, в том числе и некоторыми моими сверстниками, нашедшими в себе силы стать свободными людьми в страшном и яростном мире.

Инакомыслящие раз и навсегда обвинены были в бездуховности. Между тем духовность — это не что иное, как интенсивность душевной и интеллектуальной жизни, между которыми ров не прорыт, забор не поставлен: они и впрямь переходят одна в другую, ибо мысль умирает там, где она не разогрета чувством.

Из безнравственности отечественной истории, из невозможности её оправдания, примирения с нею вытекает неверие. Нравственность атеистического человека производит на меня большое впечатление потому, что она не подсказана ему свыше, не вменена в обязанность и не рассчитывает на загробное вознаграждение.

Поэт — скорее человек верующий, так как поэзия опирается на особую форму существования языка, укорененную в древней традиции, ведущей к заговорам и заклинаниям. Проза же — более молодое искусство и менее эмоциональное.

Человек осознал цену своей жизни, он стремится сохранить свою индивидуальность в огромной массе, — нет, не роевое сознание ему дорого, он хочет думать самостоятельно в демократическом мире. Сильнее всего это ощущается сегодня в России...

О чём бы ни говорилось в стихах, в них прежде всего идёт речь о свободе. При Сталине поэзия как раз и оставалась единственной областью жизни, не подвластной ему. Не все преграды и бастионы были взяты: жизнь человеческого сердца не подчинялась ему, была для него страшна и непонятна. Нельзя прихлопнуть ладонью солнечный луч. Человек закрывает дверь — и он у себя дома. Радио можно выключить. А с улицы это выглядит так: горит свет — жёлтый, розовый, красный, зеленоватый — за оконными шторами, мелькают тени, и, если человек не арестован, он принадлежит себе, своим близким, своим мыслям, книгам, чувствам, страстям.

Выход был найден. Лирика объявлялась камерной, салонной, эстетствующей, проза — мешанской, обывательской. Нет, не будем здесь повторять чудовищные оскорбления зарвавшихся партийных хамов.

Эта была литературная политика, спущенная сверху, на протяжении десятилетий с пылким усердием проводимая в жизнь «влиятельными подхалимами», знающими «кому быть живыми и хвалимыми, кто должен быть мёртв и хулим».

Важно понять: чем вызваны эта злоба и ярость, это стремление внедрить в сознание презрение к лирике? Да именно тем, что поэзия — последняя защитница человечности в этом мире, последний оплот, последнее прибежище свободы на земле.

В камере «психушки», рассчитанной на психическую, умственную деградацию заключённого, именно поэзия спасла меня в 1978 году от безумия. Моральные, общечеловеческие мотивы поведения становились для меня высшим жизненным критерием. Избитый и загнанный в одиночку, я поднимался навстречу душевному обновлению. Я возвращался к непосредственному поэтическому восприятию мира. Вот это непосредственное поэтическое восприятие мира и составляет сущность поэзии. Поэзия нравственна по самой своей природе. Непосредственное поэтическое восприятие мира невозможно подделать. У

меня оно проявляется в жадном, взволнованном внимании к миру во всех его столь незначительных для равнодушного и значимых для заинтересованного взгляда подробностях, к их красоте. Красота — это любовь. Любовь предполагает горячее, заинтересованное внимание к миру, к жизни во всех её проявлениях, любовь обостряет зрение и утончает слух. Отсутствие подлинной любовной лирики в современной поэзии, неспособность поэтов на неё выдаёт их общую поэтическую несостоятельность. В поэзии любовь к человеку тождественна любви к жизни во всём её многообразии. В каком-то смысле вся поэзия — это любовь...

Каковы реальные пределы творческой свободы писателя, и есть ли она? Увы, мы знаем времена, когда со свободой, любой свободой, в том числе и творческой, было покончено. Кого не расстреляли и не замучили в лагерях в конце тридцатых, тех обрекли на молчание во второй половине сороковых.

Моя сознательная жизнь пришлось на другие, после- сталинские времена, и здесь, на моих глазах, происходила борьба за обретение писателем творческой независимости самыми разными, иногда — противоположными способами.

Можно сказать, что я с самого начала пошёл на прямой конфликт с требованиями государства, написав в 1971 году поэму «Любовь и Свобода» и опубликовав её в 1978 году в первом номере журнала «Родная Волга» (Таван Атл). Это была романтическая модель поведения поэта в мире, жизнь оформлялась именно как жизнь поэта, открыто противопоставленная принуждению, господствующим представлениям и догмам. Конфликт был неизбежен, а то, что потом сожгли мой поэтический сборник «Песнь любви», выгнали меня с работы из Чувацкого книжного издательства, увезли в «психушку», — лишь вытекающие отсюда и едва ли не заранее предсказуемые последствия. Бескомпромиссность поведения Сениэля адекватна его поэзии, но ни у кого из моих друзей-поэтов это не вызвало особого восхищения. Все они были людьми,

пишущими свои стихи в свободное от работы время, вставляли по будильнику, ездили в битком набитом троллейбусе, сидели на партийных и профсоюзных собраниях, получали поощрения и выговоры и почти все завидовали мне, изгнанному из их круга.

Такого рода «поэт» — это человек, не сделавший ложных шагов ради карьеры, но и не пошедший на открытый конфликт с эпохой, взваливший на себя тяжесть жизни не только ради «жены и детей» и не только в надежде на реализацию своих способностей и знаний, но и ради сохранения своего «добраго имени» перед обкомом или ЦК КПСС. И тут о непосредственном поэтическом восприятии мира не может быть и речи.

Очень горько это — уходить, переходить «на вольные хлеба». В самом ближайшем будущем или даже сейчас уже невозможно стать поэтом-профессионалом. В этом мне повезло: с лета 1979 года до выхода на пенсию в 2001 году я жил «на вольных хлебах», но хлеб этот, повторюсь, был очень горек.

Здесь я говорю в основном о поведении пишущего человека, его образе жизни, о разных способах обретения независимости и противостояния идеологическому диктату. Разумеется, можно было бы проанализировать и сами стихи: открытую, бросающуюся в глаза новизну поэтического текста — и новизну, убранную внутрь стиха, раскрывающуюся только внимательному взору. Этот анализ можно провести и на тематическом, и на интонационном, и на многих других уровнях. То же относится к свободомыслию, которое может декларироваться, быть открыто заявленным, подобно цветам на яблоне, а может содержаться внутри стиха, как сок в апельсине: поэтическое слово многозначно, разогрето ритмом, его метафорическая сущность позволяет ему легче преодолевать идеологические барьеры.

Среди писателей моего поколения почти нет талантливых людей, добившихся «независимости и чести» на обоих этих и на других путях. Упомяну Г. Айги, М. Волкову,

И. Митта, М. Юхму, И. Егорова, — каждый из них по-своему — кто бедствуя, кто тратя время и силы на литературную поденщину, кто расчистив для собственной работы свободное пространство каторжным переводческим трудом, — победил в многолетней борьбе.

То, что вынесли мы, живя в нашей стране в семидесятые годы, наше поколение, побитое брежневскими заморозками, — мало чем отличается по своей горечи от того, что выпало на долю старшего поколения.

Но стыдно приbedняться, стыдно ходить в «жертвах застоя». Да и можно ли жаловаться на фоне нашей гибельной истории, на фоне миллионов расстрелянных и замученных в сталинские времена?

Нам всё-таки повезло, мы дожили до таких времён, когда нет большего счастья, чем думать, что хочешь, и писать, что думаешь, за письменным столом.

Я писал не то, что требовали, а то, что мне хотелось, потому что поэтическое слово многозначно и «чуткая цензура» сбивалась со следа, теряла «нюх»; потому что противостояние человека тёмным временам происходит на всех уровнях: и любовь, и солнечный луч, и любимый роман, и чудо сиреневого куста, и звёздное небо, и наши страдания, и вся человеческая история, лежащая перед тобой, как на ладони, и доблестный поступок современника, и твоя собственная преданность точному поэтическому слову — всё это и составляет смысл твоей жизни, её счастье: отнять его можно только с жизнью, только арестовав и убив.

Поэзии не страшны ни публицистика, ни проза, ни мнение самоуверенного любителя прописных истин, ни давление государства, ни требования передовой критики. Поэзия — душа мира, без неё жизнь высыхает. Я думаю, что поэзия опережает время. Поэзия — это и есть свобода, одно из самых прекрасных её проявлений. И в этом смысле время всегда будет отставать от неё...

Долгое время у нас были поэты, работающие вне национальной и мировой традиции. Свои стихи они



выращивали на пустынной почве, полагая, что возможна особая, советская поэзия, стоящая в стороне от национальной и мировой. Была даже «комсомольская» поэзия. На смену этому большинству сегодня приходит новое большинство, называющее себя авангардом. «Я — авангардист», — говорит поэт (Айги, Карягина и др.), и голыми руками его не возьмешь. При этом весь его авангардизм сводится к тому, что он пишет «непонятно». А там и понимать нечего: всё проще пареной репы — авангардизм нужен стихотворцу как ширма, чтобы скрыть свою несостоятельность в поэзии.

Нынешний авангардизм отталкивается всего лишь от казенного, официального искусства, и это не может быть продуктивным. Если же признать традицией современного авангарда авангардизм восьмидесятилетней давности, то кажется очевидной его обречённость на повторение уже сделанного: нельзя же снова и снова создавать всё тот же «чёрный квадрат».

Мы являемся свидетелями того, как одно бездарное большинство сменяет другое бездарное большинство. Между тем настоящий поэт всегда находится в оппозиции к этому большинству, он знает, что удача рождается в точке пересечения подлинной традиции и новизны: новое возникает как результат глубоких открытий, не бросающихся в глаза сразу. Идёт борьба за овладение новой поэтической интонацией, новой речью — и это связано с открытием нового взгляда на мир, с новым взглядом на самого человека.

Одним из таких открытий мне представляется осознание ценности жизни в эпоху подавления личности и человечности. Речь идёт о борьбе за жизнь, которую в любую минуту могут вырвать из рук. Русской поэзией, да и чувашской, 20 века был открыт человек, борющийся за то, чтобы остаться человеком в мире зла (Митта, Сениэль). Трагедия навязана ему извне, против его воли и желания. И свободу он не получил в наследство, как его современники в других странах, свобода в его случае —

это способность осознать своё положение и противопоставить ему свою творческую энергию.

Есть и другие открытия, например, овладение множеством новых душевных проявлений в их ещё не осознанных поэзией подробностях. Как частный случай можно указать на счастливую любовь, — ещё одно открытие, — которой до сих пор, как известно, в лирике не было: это не безоблачное, райское счастье, это счастье, осложнённое страхом его утратить и зависимостью от другого человека. Эта любовь-зависимость связана с новым пониманием любви как любви-дружбы, построенной на социально-общественном равенстве, психическом сходстве и общности не столько семейных, сколько профессиональных интересов.

Мы знаем, чего стоила Пушкину близость к власти, — стоила жизни. Наша история складывалась так, что и в той империи, которая у нас опять сложилась к концу двадцатых годов прошлого века, этот мотив отношения поэта и власти, поэта и царя, только куда более страшного, чем Николай, приобрёл, как говорится, новое, неслышанное звучание.

Мы знаем, сколько писателей было втянуто в эти гибельные отношения, каждый по-своему был затащен стальными зубцами государственной машины в смертельный барабан.

Царь Никита, может, был чуть лучше царя Иосифа, но не намного. Леонид — тем более. Сениэль не избежал ни общей участи, ни ложных шагов, но нашёл в себе силы выпутаться из паутины, осудить в себе что-то, осмыслить случившееся, уйти со сцены, погрузиться в тень, обречь себя на прижизненное забвение, на каторжный труд поэта, пишущего в стол.

Почему об этом следует говорить? Потому что соблазн сближения с властью работал и развращал поэтов на наших глазах и в другие, куда более лёгкие времена. Только жизнь частного человека даёт возможность поэту сохранить независимость и достоинство, осуществить свою задачу — «внести гармонию во внешний мир» (А. Блок).

Для этого следует многим пожертвовать, а главное — преодолеть тщеславие, без которого, наверное, нет поэта, во всяком случае — в начале пути, для этого от Сениэля требовалось проявить мужество, силу духа и просто человеческую смелость.

Пример этой смелости у вас перед глазами: он не только не ставил подписи под коллективными письмами, поносящими Сахарова, Солженицына, но и написал опальному Хунади Кашкару, переписывался с Айги, помогал ему и т.д. И при этом был как «волк в загоне», затравлен и обложен. Ему жилось нелегко, но он, как «антисоветчик», диссидент, не был репрессирован и из «психушки» был выпущен. Как повезло ему, всё-таки! Ему продолжает везти и сегодня. В каком смысле? А в том, что этот поэт родился в чувашской семье, — можно представить, как сейчас его, будь он русским, с его обожанием России, русской культуры, русской природы, людей, языка подняли бы на щит наши патриоты и стали бы кадить, как сказано у поэта Баратынского, «чтобы других задеть кадиллом».

Он счастливо избежал этой участи.

И последнее. Сениэль — двуязычный поэт, на русском пишет так же свободно, как и на чувашском, всё чувашское любит так же горячо, как и русское. Тут, видимо, дело в генах: его бабка со стороны матери, баба Дарья, была из русской деревни Барское Енорускино...

Время от времени в критике и среди самих поэтов заходит речь о кризисе, о близком конце, об исчерпанности поэзии как явления. «Последний поэт» — назвал Баратынский одно из своих стихотворений. Долгое время после смерти Пушкина казалось, что рассчитывать больше не на что — остались лишь эпигоны.

Последним поэтом современники называли Блока — и это уже при набравших силу Маяковском, Есенине...

«Я последний поэт деревни», — сказал Сергей Есенин, но, хоть и не скоро, появился Николай Рубцов.

В тридцатые годы в эмиграции о кризисе поэзии, невозможности писать стихи, сказать в поэзии новое слово,

обречённости на молчание писал Адамович. Думается, что все эти разговоры всегда говорят лишь о близорукости говорящих.

Интонация — душа стихотворения. Поэтическая мысль оживает лишь в присутствии этой «милой тени».

Регулярный стих вовсе не устарел, не исчерпал себя: даже четырёхстопный ямб или хорей может звучать так, что его не узнают: всё дело в новой интонации, добываемой с таким трудом. Впрочем, почему же с трудом? Поэт рождается с нею. Она, собственно, и отличает поэта от ремесленника: её не подделаешь, не выдумаешь. Интонация — душа поэта. Она связана с психическим складом человека и так же характерна, как голос.

Думать, как предлагает современный теоретик авангардизма, что цель поэзии и её смысл сегодня изменились — заблуждение. Тысячи лет смысл оставался — и вдруг сегодня перевернулся. С чего бы это? А всё дело в том, что не следует называть поэзией то, что ею не является. Как не была поэзией продукция множества официальных стихослагателей предшествующего периода, точно так же ничего общего с поэзией не имеет сегодняшнее «самоуничтожение искусства», даже если это и впрямь «акт религиозный». Религиозный — может быть, но не поэтический.

За каждым настоящим стихотворением проступает глубокое сердечное волнение, вызвавшее его к жизни. И даже если оно ведёт к некоторой невнятице, — неважно, тем лучше!

Меняется и растёт искусство поэзии, усложняется поэтический язык, но суть поэзии неизменна, и можно сказать, что на протяжении веков мы имеем дело как будто всё с одним и тем же поэтом под разными именами: Рудаки, Саади, Хайям, Данте, Байрон, Пушкин, Есенин, Рубцов, Сеспель, Айги, Сениэль...

Есть несколько модных слов, которые наша критика прикладывает к стихам и так, и этак, чтобы подтвердить их достоинство. Одно из этих слов — трагедия. Трагическими оказываются те стихи, где автор говорит о бессмысленности

жизни, её никчемности и пустоте, об ужасе жизни и ужасе смерти. Что и говорить, жизнь — подмоченный подарок, бессмыслицы в ней, тем более ужаса — хватает. Но поговорите с людьми, действительно несчастными, прикованными к постели, больными от рождения, поговорите с теми, кому самые обычные человеческие радости даются с трудом и мучением: и вы, может быть, устыдитесь своего нытья. Я знаю таких людей, они мужественны и умеют ценить просветы в своём страдании.

Стыдно перед лицом миллионов загубленных рассуждать о бессмысленности жизни.

Трагическое звучание, мне кажется, сегодня не то что глуше, а стыдливей, оно не хочет быть картинно выпяченным, назойливым, забивающим все другие звуки. Оно боится преувеличений. Знает, сколько любителей идеологических доктрин и абстрактных схем жаждут навязать человечеству свое представление о должном, отнять у человека жизнь, не вдаваясь ни в какие подробности.

Вот современное отношение к проблеме: жизнь, ничего не стоящая, лишённая ценностей, теряет право на трагедию.

Есть ещё одно модное слово — духовность. Нет сегодня такого бойкого публициста, телекомментатора, которые бы десять раз не употребили его в статье, передаче.

Слово Бог теперь пишут с большой буквы. Что касается настоящей поэзии, то её общение с Божеством никогда не прекращалось, ни на минуту, только не надо думать, что это общение сводится к бесконечному «вопрошанию» Господа и поминанию Его всуе.

Поэтическая мысль — это мысль метафорическая, родившаяся в счастливой ритмической рубашке. Мыслить трудно. «Я мыслю — следовательно, я существую». Увы, существуем мы в таком случае ничтожную часть нашей жизни, так сказать время от времени, нерегулярно.

Поэтическая мысль, как мысль ритмическая, разогрета ритмом, получает от него ускорение, обрастает «виноградным мясом» стиха, внушает почти физическое

удовольствие, радость. Это именно радостная мысль, даже если она бесконечно печальна.

В стихах поэт мыслит ярче и энергичней ещё потому, что поэтическая мысль опирается на поэтическую традицию, поддержана ею: поэт, сочиняя стихи, подключается к высокому напряжению мировой поэзии, получает энергию из этой сети. Вот почему, «пока не требует поэта к священной жертве Аполлон», поэт ощущает своё ничтожество и часто бывает не в состоянии соперничать с теми, кто привык мыслить в куда более трудных условиях.

Поэтическая мысль создана для стиха, в стихах она расцветает, как тополиная ветвь, поставленная в воду, вне стиха — умирает.

Поэтическая мысль не подлежит пересказу; высказанная в прозаической форме, она становится либо банальностью, либо абсурдом.

Поэтическая мысль сохраняет свое значение лишь для данного стихотворения и может быть опровергнута в соседнем. Сколько недоразумений было бы устранено, помни мы о её специфике. Поэзия — это свобода, которой мы не умеем пользоваться, когда поэтическую мысль путаем вообще с мыслью, а поэзию — с системой взглядов.

*Ты видишь мысль мою в работе.  
Она находит свой предмет,  
как сокол белый на охоте:  
он тоже ритмом разогрет.  
Мой друг, на этой верхней ноте  
прощай! Кто скажет: счастья нет?*

Это так сказал поэт А. Кушнер, некоторыми соображениями которого я воспользовался в своих высказываниях о поэзии в данной работе...

Что касается студенческих лет в университете, я во все эти годы (1962—1967) вёл дневник, и из этих записей образовался роман, назвал я его «Alma mater». Более значительными событиями «внешней автобиографии» были,

на мой взгляд, ещё более близкое сближение моё с Тал-виром и распознавание его истинной сущности как человека (о треклятая моя интуиция!), заговор против меня «родственных душ» Юрия и Порфирия (громили на секции поэзии хвалимые ранее самими же мои стихи), работа Петрова на кафедре журналистики преподавателем техники оформления газет и его разные гадости против меня, приезд Хузангая в 1962, 1963 и 1964 годах в Казань, где его мои «друзья» полностью превратили в моего литературного врага.

Юрий звал Талвира «вторым отцом» (первый погиб в 1943 году на фронте), а в 1965 году предал его «со всеми его потрохами», Порфирий же предал классика чуть позже, в 1967 году. Третьим отцом первого и вторым кумиром второго стал Н. Дедушкин, председатель правления СП Чувашии; Юрий за сорок лет нашего знакомства предавал меня всего три раза, Порфирий же повёл против меня настоящую тайную войну, непримиримую и жестокую; он вёл войну не только против меня, но и против моего брата Ивана Егорова, талантливого чувашского прозаика и поэта, автора трилогии «Белый свет», в третьей книге которой он жизнеописал мою «скорбную и горестную» жизнь, где проклял моих нынешних и будущих гонителей на все времена.

У Моцарта был всего один Сальери, у меня были три «полнометражных» и множество «короткометражных» сальериев. Один из них, Хузангай летом 1968 года на секции поэзии камня на камне не оставил от моей детской книжки «Первый снег», а Юрий ему подпевал.

В мае 1973 года вышел сборник моих стихов и поэм «Тревоги матери нашей», разгромленный в апреле 1964 года «с подачи Хузангая» рецензентом Уйпом. «Друзья» сразу же среагировали. В главной партийной газете «Коммунизм ялавлё» появилась статья Г. Краснова «Пульс жизни», обвиняющая меня в пессимизме, в другой главной газете ОК КПСС «Советская Чувашия» вторил ему в своей статье И. Кузьмичев, а «друг» М. Щербаков дотянулся аж до московской «Литературной России», там в тридцатом

номере напечатал он свою статейку под названием «Читатель критикует», в которой затронул и обвинил в безграмотности главного редактора Чувашского книжного издательства Аристарха Дмитриева, а обо мне было сказано, что я вообще не поэт. Аристарха Ивановича вынудили «покаяться в грехах» публично, и он через газету «Коммунизм ялавлё» покаялся (№ 293, 1973). Всю эту кашу (тайком!) заварил мой друг, «полнометражный Сальери» Порфирий Афанасьев. В 1974 году всячески препятствовал моему вступлению в члены СП СССР, но ничего не смог сделать, помог мне Л. Агаков, он дружил с Дедушкиным, и я «прошёл», зато чуть позже не прошёл Иван, имевший к этому времени четыре изданных книги прозы, и ему пришлось долго ждать своего часа.

Порфирий сильно укрепил свои позиции, он занял в ОК КПСС подругу — О. Денисова заведовала отделом культуры обкома. Под её покровительством и с её помощью друг в 1978 году сперва сжёг «Песнь любви», потом оклеветал и оплевал поэму «Любовь и Свобода» и сборник «Удача», изданный московским издательством. А обкомовские холуи с радостью кинулись исполнять то, что было им приказано исполнить, их оказалось около тридцати душ. Вот что сказал один из них, Юрий Григорьев (Айташ), который вёл заседание правления СП при обсуждении сборника «Песнь любви»: «У нас не хватает бумаги даже для издания книг порядочных писателей, а тут чуть не выскочила на свет антисоветчина, мусор...»

Холуй Ипполит Иванов озаглавил свой пасквиль «Слово не воробей», а ортодоксальный марксист, доктор наук и вульгарный защитник соцреализма Иван Кузнецов — «Удачна ли «Удача»?», на что студенты Чувашского государственного университета О. Алексеев и С. Полкачёв в газете «Ульяновец» ответили: «Удачна!» То же самое сказал в «Литературной России» Владимир Пекшев: «Михаил Сениэль — поэт ярко выраженного лирического дарования, — писал он в статье «О родной Чувашии» (№ 35, 1978). — Может быть, поэтому многое в его вещах уходит в подтекст,



скрыто, сознательно завуалировано. Однако в лучших своих стихах ему удалось счастливо сочетать тонкие интимные переживания, возвышенную легкость стиха, его певучесть с подлинной глубиной и серьёзностью содержания.

Доброжелательно писали в Москве обо мне и другие авторы, а на секретариате правления СП РСФСР русские поэты Серебряков и Балашов горячо защищали моё доброе имя, большое им спасибо за это.

Кузнецов, с тридцатых годов стоявший зорко на страже догматики соцреализма, писал обо мне: «В поэзии Сениэля непрерывное сновидение, прерываемое бессонницей, влечение к тишине, которая, однако, его отнюдь не успокаивает и не ласкает. И он бродит в поисках удачи, провозглашая то, что осталось у него в памяти от бабушкиных сказок о Киремети и кое-что зародилось в его размышлении о глобальности мира, о Вселенной, о Человеке и, что характерно, он мыслит больше в темноте, чем при солнечном свете, он не имеет ясного идеала, кровно связанного с жизнью и делами строителей коммунизма».

В июне 1979 года Порфирий добился моего изгнания из Чувашского книжного издательства, с августа 1985 года стал его главным редактором, а потом возглавил чувашскую писательскую организацию и почти полностью закрыл мне и моему брату «шлюзы». Он поднимался всё выше и выше, а я опускался всё ниже и ниже и ушёл в тишь, лёг, как говорится, на дно и... остервенело трудился, творил...

Критик Атнер Хузангай об этом периоде моей жизни писал: «По аллее Сениэля не гуляет Сениэль. Почему же он не гуляет? Потому что у него «грипп». Грипп как болезнь гносеологическая, мировоззренческая, которая предполагает определённый — не очень весёлый — взгляд на то, что происходит в этой жизни. Впрочем, такой честный пессимизм лучше ложного оптимизма и инфантильного пафоса. И всё же поэт Сениэль идёт «по своей аллее», своим путём в чувашской поэзии. Память служит ему верным проводником, а чувство пути одно из жизненно-необходимых для поэта».

Теперь Порфирий близкий друг чувашского президента, его придворный стихослагатель и советник по литературе. Народный поэт. А подруга его долгие годы была при новом режиме министром культуры.

Друг и ныне завидует мне по-чёрному, завидует тому, что я не обременён семьёй, нет у меня жены, детей и внуков и... тёщи, которые ох как мешают писать стихи, что я не хожу на казённую службу, целый день бываю дома и пишу стихи и поэмы, которые печатает газета «Хыпар». Главный редактор «Хыпара» Алексей Леонтьев, руководитель новой, более молодой генерации, не боится фаворитов президента. Не боялся их и редактор «Советской Чувашии» Николай Максимов, тоже печатал мои самые «рисковые» стихи.

Учиться в университете на отделении журналистики было довольно трудно. Программа была обширная. Требовалось знание текстов оригинала, специальной литературы, участие в средствах массовой информации и общественной работе. Я, например, все пять лет учёбы был членом штаба университетской добровольной народной дружины (ДНД). Так как я жил на одну стипендию (тогда это было возможно!), мне на экзаменах никак нельзя было получать «тройки», с ней стипендии лишали, не давали. Но, несмотря ни на что, моя творческая деятельность ни на минуту не прекращалась. Помимо стихов на чувашском и русском языках, я написал поэмы «Честь» (1962), «Я верю, я мечтаю лелею» (1963), «Последние капли крови» (1963, 1965), «Саврушская сторона» (1964), «Золотая моя колыбель» (на русском языке, 1964), «Дальние дороги» (1964), «Лунная соната» (на русском языке, 1964), очерк «Надломленная ветка» (1963), рассказы и новеллы «Облака проходят, облака» (1962), «Растёт без отца» (1962), «Сочинение» (на русском языке, 1962), «Фараон» (1963), «Рондо Моцарта» (1963), «Сон» (1964), «Облетают листья» (1964), «Волшебные фонари» (1964), «Грачиная метель» (1964), «Лунный свет» (1964), «Голубая комета» (1965),

«Пожар» (1966), роман «Alma mater» (1962—1967) и первую часть романа в стихах «Сўнми хёвел» (1967).

Я через Талвира познакомился и подружился с татарскими поэтами старшего поколения Хасаном Туфаном, Шарафом Мударисом, Заки Нури. Все они знали чувашский язык, аул Хасана-ага был всего в 12-ти верстах от нашей деревни. Он, как и доктор Иванов, называл меня «сынком», а Мударис перевёл мои стихи на татарский язык и опубликовал в газете «Социалистик Татарстан». С молодыми поэтами мы учились на одном факультете и жили в одном общежитии, суп или кашу хлебали из одной, можно сказать, кастрюли. Чай пили (иногда и вино) тоже за одним столом — мы не замечали свою национальность и свою религию, дружили, все были равны. За пять лет ни один татарский поэт меня не обидел, кроме одного дурака, который был из Средней Азии, а не из Татарии. Его, Синегулова, Равиль Файзуллин, Гарай Рахим и Рустем Мингали презирали. С русскоязычным Рустемом Кутумем меня познакомил Равиль, а с Ренатом Харисом я был не очень близок, он в пединституте учился вместе с Порфирием.

Файзуллин и Рахим переводили меня, а я переводил их. Позже, когда переехал в Чебоксары, читал эти стихи по чувашскому радио и телевидению, печатал в газетах и журналах, включал в свои сборники стихов. Они печатали меня в газетах «Яшь ленинчы», «Татарстан яшляре», «Социалистик Татарстан» и в толстом журнале «Казан утлары». Я переводил и произведения Хариса, Заки Нури. Стихи последнего издал в Чувашском книжном издательстве отдельной книжкой под названием «Дарю цветы» с моим предисловием (1983 г.). Хасану Туфану посвятил цикл стихов на русском языке.

При газете «Комсомолец Татарии» работало литературное объединение имени Луговского. Туда повела меня 18 марта 1964 года моя однокурсница русская поэтесса Маша Аввакумова. Оказывается, сюда собирается вся русскоязычная полубогемная шантрапа со всего города. Накурено так, что трудно различить кто баба, кто мужик.

Некоторые парни (да и девицы!) — навеселе. Читают тут свои стихи местные знаменитости Коля Беляев, Костя Бердичевский, Ренат Суфеев, Иван Данилов, Геннадий Капранов... Какой-то Игнатюк, какой-то Киносян... Нелли Земляниченко, Нурия Муллаева... В углу сидел Рустем Кутуй. Молчал. Поглядывал на нас: на Машу и меня. Улыбался. Он уже знал наши стихи. На этот раз мы не выступали. Маша выступила 24 марта. Успех. Только в одном месте засомневались: «Зелёный глаз радиоприёмника... Не из Вознесенского ли это?»

Я выступил 21-го мая.

Читал последним, после того, как других в пух и прах разгромили, и меня... не громили. Даже наоборот — явный успех: с первого же выступления — успех!

Н. Беляев: «Первая вещь без никакой правки — хорошие стихи».

К. Бердичевский: «Такие бурные чувства сумел выразить так просто и оригинально — молодец, Миша!»

Девушка: «Можно первое стихотворение («На берегу Волги») списать, разрешите?»

Отдал все три насовсем — чего списывать...

В. Синёв: «Тебе нужно выбрать теперь для себя наставника по душе, Беляева, например. С ним у тебя одно направление. Давно ли печатаешься? Где? Когда?»

Всё рассказал — где, когда и как давно...

Возник спор насчёт моего метода. Одни сказали: на настроении, на нагнетании чувств далеко не уедешь, много не создашь, всё это, мол, временно, если это исчезнет — исчезнет и способность творить.

Н. Беляев: «На этом создают целые поэзии!»

Вот это верно.

Все остановились на том, кроме Ованесяна, которому другие дружно возразили, что я поэт нового направления, стоящий где-то недалеко от элюаров, уитменов. «По этому направлению можно идти далеко, — говорили они. — Нет сложности образов в каждой строчке, зато каждое стихотворение насквозь целиком образ». Сошлись на этом.

Определили главное в моей поэзии: человечность, искренность, простота...

Теперь я полностью убеждён, что я поэт, и не маленький, а весьма крупный среди молодых. Я теперь — наравне с ними, может быть, и выше — Бердичевского, Игнатюка, Суфеева, Капранова и других. Человечность и искренность — вот чего не хватает всем этим поэтам, а это вызвать искусственно невозможно, жизнь и поэзию не перехитришь.

Они — мудрствуют, делая механизм сложнейших и новейших образов; у них всё идёт от делания образов. У меня — наоборот, идёт от бурных чувств и глубоких раздумий; первично у меня — содержание, а потом — форма; основное — содержание, и форма исходит из содержания, а не наоборот...

В клубе имени Тукая Дома печати происходили вечера чувашской поэзии, вечера дружбы чувашской и татарской литератур. Памятен вечер, состоявшийся 28-го ноября 1964 года. С татарской стороны там были Хасан Туфан, Габдрахман Минский, Кави Латып, директор литфонда Сарьян, молодые поэты Равиль Файзуллин, Гарай Рахим и Радиф Гатауллин. С нашей стороны — Алексей Талвир, Тихон Педерки, Василий Юдин, Николай Васильев, Константин Петров, Афанасий Лисков, Антон Петрухин и я. Вёл вечер Туфан, он произнёс зажигательную речь о дружбе двух братских народов, их литератур. Третьим вышел я, сначала читал на русском языке («Джигит», «Хлеб», «Гимн стройотряда», «На берегу Волги», «Выпускнице»), потом — на татарском («Цветок полевой»), в конце — на родном («Гибель Сеспеля», «Не Байрон» и «Гаснут огни»). Когда я бросил в зал последнее двустушище из стихотворения «Не Байрон», там началось что-то невообразимое: кричат, свистят, топают ногами... Сидящие в президиуме аксакалы-татары стали у Талвира шёпотом спрашивать: «В чём дело?» Когда тот сказал в чём дело, меня попросили прочитать стихотворение на русском языке. А «дело было», оказывается, в строчках:

*Навряд ли Байроном я буду,  
но Хузангаем — как-нибудь!*

Стихи были написаны ещё в школе. Именно из-за этого двестишестидесятилетия и невзлюбил меня классик. Кто-то донёс, наверно, Порфирий.

Вечер дружбы продолжился в ресторане «Казань». Из чуваш — только я и Талвир, а татары — в полном составе. Дипломат Талвир на этом пиру «выбил» для меня у директора литфонда 30 рублей как помощь молодому писателю и командировку на 10 дней в свой район для проведения в родной школе и в других местах авторского вечера.

На банкете я сидел рядом со своим земляком Туфаном, и он, пожилой человек, прошедший в тюрьмах и концлагерях 17 лет, гладил меня по головке, говорил, что я стану большим поэтом. Молодые Файзуллин и Рахим диву давались и краснели от смущения — они были очень рады за меня.

В родной Аксубаевской средней школе мой авторский вечер поэзии прошёл 4 декабря 1964 года — в 7 часов вечера Актальный зал был уже переполнен.

В организации этого вечера помог мне Алексей Трофимов, учитель рисования, будущий доктор искусствоведения, академик.

Летом того же года я в составе студенческого строительного отряда побывал на целине в Северо-Казахстанской области. Строили школу, коровники, зерносклады, баню и т.д., за три месяца заработал около 400 рублей. В то время Талвир собирался издавать в Казани альманах на чувашском языке «Хусан» и попросил меня присылать «с места действий» письма, дабы использовать их потом как очерки. Я прислал из станицы Кладбинка Пресновского района 6 писем. К концу декабря рукопись альманаха уже была готова к производству. Я очень удивился, когда там не увидел ни одно моё письмо из Казахстана. Редактором был назначен Петров, он сказал, что материал слишком большой, объём издания в темплане Татарского книжного

издательства всего 8 печатных листов. Я предложил ему поэму «Первые бури», редактор принял её, как потом выяснилось, из 13 главок включил лишь 4. Вот это гадость так гадость! Талвир делал вид, будто он ни при чём, а во всём виноват, дескать, Петров. Когда в марте 1965 года альманах вышел, я всё прекрасно понял: около 70 страниц в нём занимает Талвир, 30 — Петров, 43 — Юдин, 33 — Юрий Григорьев...

Вторая книга альманаха была готова к началу 1967 года. Редактором стал Талвир. Туда Юрия он уже не пустил, так как узнал о его предательстве ещё в год первого выпуска альманаха. Я ездил по районам, собирал заказы на издание, собрал более 700 заказов, и Талвир «сжалился», включил... 7 стихотворений, а новую поэму о целине «Дальние дороги» отклонил, опять «не хватило места», ибо Талвиру нужно было около 90 страниц, Педерки — более 60, Петрову — 34...

И что интересно, когда я с первого августа 1967 года стал работать в Чувашском книжном издательстве редактором художественной литературы, первым пришёл ко мне с рукописью своих рассказов Петров, вторым — Талвир. Он принёс большую повесть «До войны, во время войны и после войны».

Книжку Петрова я вскоре включил в темплан, отредактировал и выпустил в свет. Повесть Талвира 30 октября 1967 года отстоял на редсовете издательства, включил в темплан 1969 года, переработал и издал. И что же? Теперь Петров принёс уже роман «Любовь и яд». Рыхлый. Слабый. Переработал. Сжал. Дописал. Издал в 1972 году. За переработку он ни рубля не заплатил. Теперь произведение сие включено в список обязательной литературы на ист-филфаке Чувашского государственного университета.

В год выхода своей повести Талвир положил мне на стол рукопись своих избранных повестей и рассказов. Сборник «Избранное» вышел в 1971 году, а в 1977 году я уже редактировал его роман «Фундамент» в двух книгах, и он вышел в конце 1978 года.

Вот так вот, друзья мои! Кто из нас более христианин: я или Петров с Талвиром? Я думаю, и это так и есть на самом деле, что — я... То же самое сказал бы и Мигель де Сервантес Сааведра, автор романа «Дон Кихот».

Третьим пришёл Порфирий. Я делал вид, будто его «делишки» против меня мне совсем неизвестны и на 1975 год включил в темплан его сборник стихов «Черемшанские напевы», на 1976-й — книжку рассказов «Клин журавлиный», на 1978-й — повесть «Очаг», а на 1980-й — сборник стихов и поэм «Свет изнутри». Все названные книги вышли в свет благополучно и своевременно, я их хорошо отредактировал. Мой друг в 1977 году вступил в СП СССР, а за «Свет изнутри» получил литературную премию имени Сеспеля. А о том, как он отблагодарил меня за всё это, я уже рассказал выше.

Неудобно теперь упоминать, с тех пор много воды утекло, но всё же скажу: неблагодарными оказались также Юхма, Айги, Юмарт, Лисина, Сарби, Эйзин, Тимаков, Шемекеев, Ыхра, Василий Петров, Теветкель...

Простился я с Alma mater очень трогательно, написал даже специальный пассаж, где излил всю свою поэтическую душу. Прощай, Alma mater, писал я там, «мать кормящая», дающая своим «сыновьям и дочерям» духовное «молоко», то бишь духовную пищу. Вот и пришла пора расставанья. Прощай, прощай! «Прощай!» — говорим — и ласкательно, и шутливо, но более всего — с огромной благодарностью и любовью и с большой грустью. Грустно, очень грустно, ведь расстаемся навсегда. Наша волна проходит. Идут, накатываются, бьют о береговой гранит наук другие волны. И мы отходим, отходим. Уходим... Прощай, свободная стихия! В годы «хрущёвской оттепели» студенческая стихия питала надежду, но, увы, свободной она не смогла стать, не дали, сковали стихию... Что делать? Ты в этом, Alma mater, не виновата. И у нас, у твоих «сыновей и дочерей» нет в том вины. Даже не верится, что заковали в бетон авторитаризма свободу заветную,



свободу мыслить и страдать, любить и ненавидеть, вершить дела и творить последователи того самого свободолюбивого юноши, который в свои семнадцать лет восстал против застоя и рутины, против гнёта самодержавного режима.

Прощай, Alma mater, и прости меня, если я, вырастая из орлёнка в орла, не всегда залетал высоко, прости, если я иногда испытывал страх перед высотой, ибо мне приходилось ежеминутно скрывать свою духовную свободу. Но любовь и тайная свобода мне не дали упасть, и я парю душою, духом своим высоко-высоко. Я не затерялся меж суетой и тщетой людишек, пекущихся за сытое корыто жизни. Пускай я умру голодным и холодным и в рваных лохмотьях, зато я свободен, зато я не раб ни в чём. Прощай, Alma mater, прощайте, Учителя! Учителя, я вас не посрамил, и вам я оставляю свою душу — благодарную — навечно...

Прощай, Казань. Прощайте, улицы и скверы, сады и парки, дома и дворцы, театры и музеи, консерватория, площадь Свободы. Прощай, кремль и Казанка полноводная. Прощайте, набережные и порты, остановки и вокзалы, школы и институты, поликлиники и больницы, казармы и тюрьмы, гостиницы и рестораны, издательства и типографии, библиотеки и читальные залы.

Прощай, корпус, где мы все эти пять лет постигали науки.

Прощай, золотоволосая Вера Симонова. С тобой мы познакомились в этих стенах на осеннем балу. Прощай, милая, прости меня, не поминай лихом, не забывая меня.

*Прощай, Казань,  
прощай как песнь простая.  
В последний раз подругу обниму,  
чтоб голова её, как роза золотая,  
кивала нежно мне  
в сиреновом дыму...*

Прощай, юность! Здравствуй, молодость, буйная молодость, и — смерть, ранняя гибель, которая меня впереди ожидает...

Насчет ранней смерти, которая меня ожидала: это не поза, не пустые слова, сказанные всуе, я тогда думал именно так, как написано в «Прощании с Alma mater», потому что на такие невесёлые раздумья были веские причины, и я очень боялся, что не выдержу тех испытаний судьбы, которые предстоят впереди... Ведь сам «хозяин чувашской поэзии» Хузангай ненавидел меня, всячески трювил до самой своей смерти в марте 1970 года.

Все мои книги выходили с большим трудом, а после выхода их охаивали в печати и на партийных собраниях. Иногда их даже сжигали, годами не включали в тематический план издания. За моей деятельностью сначала следил капитан Савелькин, а потом майор Васильев из КГБ. Один раз капитан пришёл ко мне домой с бутылкой прекрасного вина «Букет Абхазии», когда мы выпили по рюмочке, стал уговаривать, чтобы я «не давал повода», так как в то время в КГБ лежали шесть доносов, написанные на меня пятью мужчинами и одной женщиной. А когда я всех назвал поимённо, Валентин страшно удивился, восхищался моей интуицией, проникновенностью. Спасибо этим ребятам из КГБ — они мне зла не причинили.

Перед моим 60-летием Агнер Хузангай как-то спросил у меня: «Ты мог стать врачом, получив в своё время медицинское образование. Не жалеешь ли о том, что стал поэтом?» Я ответил, что с детства у меня было слабое здоровье, хоть я и не собирался становиться врачом, но на фельдшера выучился, дабы досконально знать свои болезни, как от них избавляться и предохраняться; и я также лечил своих земляков. Стихи же я начал писать чуть ли не с семи лет.

Агнер ещё спросил: «Как живёт сейчас поэт-профессионал — без издания книг, с редкими публикациями в газетах и журналах? Как изменилось твоё отношение к

жизни по сравнению с юностью, периодом «бури и натиска», так сказать?»

Ответ: «Очень плохо. Хуже собаки (как писал Сеспель: «Псом ободранным буду искать черствый кус у чужого плетня»). За эти годы меня материально поддерживал мой младший брат Егоров Николай Павлович — директор Чувашской гимназии в селе Савгачево Аксубаевского района Татарстана. Неудобно говорить об этом, но я в юности серьёзно задумывался над смыслом жизни и хотел покончить со всем этим, а теперь наоборот: хочется жить и жить!»

Вопрос: «Как и многие известные чувашские поэты, ты у нас «заграничный чуваш», но давно живёшь в Чебоксарах, не тянет вернуться на свою «малую родину»?»

Ответ: «Тянет, очень даже тянет. С первых дней появления здесь у меня «нелады» с властью, с некоторыми «новыми и старыми друзьями», которые меня много раз предавали и предают. Из-за них пришлось испытать много лиха, всяческих бед и невзгод. В своём итоговом стихотворении «Мой завет» я так и написал: «Похороните близ села родного...» Я хочу лежать в своей родной земле и не быть рядом с ними даже мёртвый».

Я с 1987 по 1989 год учился на Высших литературных курсах при Литинституте имени Горького в Москве. Жизнь в стране из «застоя» переключилась на «перестройку» и помчалась к «смуте», чтобы вскоре оказаться у «пропасти»: сначала была «перестройка» (Мишка с Райкой), потом — «перепалка», а потом началась «перестрелка», особенно сильно — на Кавказе, в Чечении.

Этот период моего бытия замечателен тем, что на курсах я познакомился и подружился с будущим президентом Чеченской республики Ичкерия Зелимханом Абдулмуслимовичем Яндарбиевым или, по-другому, с поэтом Муслимом Абдулом. На одном из поэтических семинаров он читал такие строки:

*Так что ж тут такого, когда говорю,  
что стал я намного взрослей и умней,  
увидев седины у мамы моей,  
что — глядя вам в душу — стихи я творю.  
И что ж тут такого, когда говорю  
про то, что всем сердцем я чувствую остро,  
к примеру, — что вас больше жизни люблю!*

Зелимхан собирался создавать в Чечении (не Чечня, а Чечения!) Вайнахскую Демократическую партию (ВДП) и с её помощью сокрушить чеченский обком КПСС во главе с Д. Завгаевым, заодно и — КГБ. Потом он эту партию создал, обком и КГБ сокрушил. Была создана свободная независимая страна Ичкерия, и после гибели первого президента Джохара Дудаева вице-президент Яндарбиев приступил к исполнению обязанностей президента Чеченской республики Ичкерия, премьер-министра и главнокомандующего вооружёнными силами. Это произошло 23 апреля 1996 года, а в январе 1997 года Зелимхан через Агнера Хузангая из Грозного прислал мне с автографом свою книгу «Чечения — битва за свободу», изданную в городе Львове.

Зелимхана, как и Джохара, хотели сразу же убить, покушались на его жизнь около десяти раз и, наконец, в государстве Катар, в изгнании, покушение удалось осуществить — 13 февраля 2004 года его взорвали вместе с машиной двое из ФСБ России. В эти дни я со слезами на глазах писал стихи «Плач по Зелимхану», «Прощание с Зелимханом», «Убийце моего друга»...

*Я знаю, друг, ты смерти не боялся.  
Я знаю также: презирал её.  
Кто будет убивать — и это было ясно  
тебе давно: друзья-враги, жульё.*

*Предатели-цуды... Друг, мне страшно...  
Их ходит сколько и вокруг меня!*

*Ни на кого надеяться... Ужасно...  
Шепчу о том я, душу кровеня.*

*Ты говорил, что всё уходит прахом.  
Ты говорил о смысле бытия.  
Ты встретил смерть, как должно, и без страха.  
Тебе подобен в этом буду я.*

*И к скорби мира, к горестям тем ближе  
ты был, что Правду Бога ты постиг.  
Ты знал: всем сущим вера в Бога движет,  
над нами — Бог, имеем шанс спастись.*

*Пусть царствуют и руководят ловко...  
Ты — Правды подданный; тем выше тех господ.  
Над всеми вечна длань Его. Неплохо.  
И всем судья — один лишь Бог, Господь...*

Да, Зелимхан, ты любил нас больше жизни. Ты любил людей, жизнь, я это знаю, а вот тебя не пожалели, безжалостно убили; убили и тебя же обзывают всякими подлыми словами — подлые политиканы, подлые калифы на час. Но им рановато радоваться: истинного поэта убить невозможно, можно убить его тело, а самого поэта — никогда! Пока буду жив, до последнего своего вздоха буду тебя помнить и прославлять как великого сына чеченского народа и достойного певца его Свободного Духа. Спи спокойно, дорогой брат. Пусть земля будет тебе пухом...

На ВЛК же я завершил свой роман в стихах «Сўнми хёвел», который писался в три захода в 1967, 1977 и 1987 годах и был полностью напечатан впоследствии в журнале «Родная Волга». «Сўнми хёвел» (Свет неугасимый) — это роман о поисках истины через красоту и любовь, о духовном становлении поэта и о бессмертной романтической его любви к женщине, к людям, к жизни и к вечно обновляющемуся миру. Композиция романа напо-

минает симфоническую поэму: в её составе — увертюра, сама поэма из трёх частей и финал.

Наступали трудные смутные дни. В центре Москвы пьяный коммунист Ельцин с открытого кузова грузовика на митинге трудящихся крыл последними словами коммунистов и советскую власть, а толпа одобрительно гудела. Я вскоре перестал ходить на эти митинги и собрания, махнул рукой и плюнул, а чуть погодя, уже в Чебоксарах, в конце 1991 года свои размышления по поводу всех этих дел и по поводу дел Союза писателей изложил на бумаге, назвав свой опус «Никакого порядка», чтобы потом отнести его в газету «Советская Чувашия».

В стране началась смута, никакого порядка и здравомыслия уже в ней не стало — и скоро Советский Союз развалился.

Во всей необъятной стране — никакого порядка. В Союзе писателей СССР — тоже, в СП РСФСР — тем более. Шум и гам. Вражда и ненависть. Тяжёлое смутное время. Только у нас, в Союзе писателей Чувашии, — тишь и гладь да божья благодать. Но — ой ли... Обманчивая тишина.

Встретил в коридоре демократа.

— Выхожу из Союза писателей РСФСР.

— Ну и выходи.

— А ты?

— А я нет...

Да, я остаюсь и в «большом» Союзе, и в Союзе писателей РСФСР, и в СП Чувашии. И вот почему: считаю, что смутное время вечно продолжаться не может. Учитывая сложившиеся реалии, уже намечаются пути обновления СП СССР, готовится декларация, в которой будут заложены коренные принципы будущего Содружества независимых писателей, которое будет создано вместо Союза писателей СССР. В основе создания — убеждение в том, что общее духовное, гуманистическое, культурное пространство, созданное литературами всех наших народов, надо сохранить и решительно обновить, и в том,

что каждая писательская организация сама определит своё место, формы своего бытия в этом пространстве, своего участия в новом объединении — СНП.

Это с одной стороны. А с другой стороны, хотелось бы, чтобы не остановиться только лишь на «смене литературных лидеров». Ведь суть-то не в Ю. Бондареве или А. Ананьеве. Хотя я знаю, чего хотят «бондаревцы» и не знаю, чего добиваются «ананьевцы».

Бондаревцы хотят неделимой России, конфедерации союзов писателей, ассоциации Литературных фондов, претендуют на издательство «Советский писатель», издательско-производственные объединения, учреждённые и учреждаемые; хозрасчётные издательства, рекламно-информационные центры, редакции газет и журналов, малые, совместные и иные предприятия, акционерные общества и т.д. В том числе — на Литинститут и центральный Дом литераторов. Также и имущество и денежные средства перечисленных организаций, учреждений, предприятий входят в собственность конфедерации союзов писателей.

А чего хочет так называемый альтернативный Союз писателей России, во главе которого будто бы стоит А. Ананьев?

«Манифест» сего союза менее всего похож на декларацию, провозгласившую определённые принципы, а смахивает на словесную потасовку. Он попросту не продуман, особенно вот это положение: «На одном из пленумов (бондаревского СП) прозвучал даже призыв запихнуть малые народы России в резервации». Во-первых, не «малые народы», а коренные. Во-вторых, не надо наводить тень на плетень — не надо нас пугать американскими резервациями. Вот что говорит по этому поводу Борис Можжев, одинаково недовольный и «нашими», и «вашими»: «Дай бог, дожить нам до того времени, когда коренные народы получат наконец право не только жить там, где жили их предки, но и быть полными хозяевами лесов и рек этих заповедных мест, то бишь резервации, — иро-

низирует писатель и продолжает: — И чтобы без их ведома и согласия никто не смог разбойничать в тайге — хищнически уничтожать кедровники и другие ценные породы, оставляя заломанные, искорёженные лесные кущи, захламлять реки, уничтожать нерестилища. Вот тогда будут и реки наши чисты, и рыба появится в них, и зверьё в лесах, и люди, особенно коренные жители, перестанут бедствовать. Не это ли «устройство жизни» должно быть главной целью нашей? А мы чем занимаемся?»

А мы делаем перестройку, митингуем, ниспровергаем и разоблачаем, а не работаем. Горло дерём. И всё. Зачем я об этом говорю? А вот зачем: мы — писатели, нам не положено поддаваться соблазну силового давления неობольшевизма, откуда бы он ни исходил — от консерваторов или от демократов. Мы обязаны сдерживать подобные методы и словом, и делом и в полной мере быть независимыми.

Мне не по душе и ругань, и перепалки, и наклеивание ярлыков порою самого низменного пошиба, вроде тех, которые так часты на страницах одной из «общечувашских» газет.

Я, как и большинство чувашских писателей, не стал выходить из «бондаревского» СП РСФСР, остался там вместе с такими писателями, как Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Федор Уяр, Юрий Артемьев, Николай Максимов, Вениамин Тимаков, Иван Егоров, очень мною уважаемыми, а вступить в альтернативный Союз, где вместе оказались Черниченко, Вознесенский, Евтушенко, Грезин, Юхма, Хузангай, Чиндыков и другие, не пожелал, хотя Агнера Петровича и Бориса Борисыча уважаю.

И то сказать, простая смена лидеров мало что, в сущности, решает, в глубине всё пока остаётся по-старому, ибо структура писательских организаций точно копирует партийные органы власти. Нужно менять принципы, отказываться от платных функционеров и привилегий, от кресел, куда возносят не талант, не заслуги перед литературой, а интрига или партийно-государ-



ственный протекционизм. Не может писатель за деньги руководить своими собратьями. Сменив же консерватора на демократа, правого на левого, мы ничего хорошего не добьёмся.

Пойдём далее.

А всё-таки, может быть, хороший СП допустим? Нет, недопустим. Хороший СП, по мнению Нагибина, — это его отсутствие, и к этому, только к этому мы должны стремиться.

Нам нужен Литфонд. Он был создан в прошлом веке для поддержки нуждающихся писателей, их вдов и сирот. Это святое дело. Поскольку же у нас почти все писатели, кроме возглавляющих Союз писателей хапуг, нуждающиеся, Литфонд необходим.

Союз писателей — это инструмент давления на писателей, превращения их в холоуев власти, в единое, послушное, запуганное стадо. Посредством постоянного бдительного надзора, вызовов «на ковёр», проработок, включений в «чёрные списки», отказов в жилплощади, путевках, ссудах, равно как и системой поощрений: госпремии, звания, ордена, квартиры и т.д. — из нас делали послушных слуг тоталитарного режима.

В феврале 1978 года, к слову сказать, за связь с Геннадием Айги, который «за бугром» в журнале «Континент» опубликовал свои стихи, за издание его книги стихов «Завязь» и предисловие к ней был запрещён, а потом сожжён мой сборник юношеских стихотворений «Юрату юрри» (Песнь любви) в стадии «сигнальный экземпляр», то есть вместо того, чтобы везти его в книжные магазины, увезли жечь. Всё равно что сердце моё сожгли, дух мой убили. А потом на меня же возвели такую клевету, аж в глазах потемнело. И это до сих пор не прекращается. Теперь уж не коммунисты на меня прут, не «консерваторы», а что ни на есть самые настоящие «прорабы перестройки», то бишь «переодетые» коммунисты. Хотя и коммунисты тоже бывают разные, одних я за версту не переносу, а с другими, бывает, и дружу, творчески сотрудничаю.

Итак, быть или не быть Союзу писателей? Быть. Хотя бы потому, чтобы можно было исключить меня из него. Из писателей, смею думать, исключить меня не смогут, а из Союза — смогут запросто. Надо лишь создать мнение, повторять изо дня в день, что Сениэль — подонок, какого свет не видывал, что он наймит шовинистических газет «КЛИП», «Литературная Россия», где литератор Юхма был им разоблачён и проклят как закоренелый плагиатор, доносчик и махинатор, что Сениэль — клеветник и манкурт, лживый писатель и людоед и вообще писака, сениэлишка. Кроме того, пасквилянт и сплетник, ненадёжный и большой человек, и не мужчина вовсе (импотент), хотя и насильник... О том, что бездарен, и говорить нечего.

Забавно, правда? А мне не забавно, мне грустно. Вся эта грязь уже наляпана чёрным по белому — и создавать мнения никакого не надо, оно уже создано, действует. Уже останавливают на улице, лестничной площадке, в коридоре, троллейбусе, автобусе. Задают вопросы, интересуются. Жалеют, видите ли, сочувствуют, а на самом деле злорадствуют, дескать, за ангела себя выдавал, за правдолюбца, а сам вон какой, оказывается. О том, что ловкача-литератора в литературном воровстве поймал и разоблачил, — ни слова. Обо всех его неблагоприятных делах посмел печатно заявить — это не в счёт. Это им непонятно и неважно. Хоть всё обосновано на фактах, документах, вор пойман с поличным, это их не интересует и не волнует. Теперь остаётся только ещё немного поднажать, и от Сениэля останется мокрое место. Был человек, и нет его.

Теперь представим себе, что мы имеем хороший, авторитетный Союз писателей, я обращаюсь туда с просьбой во всём объективно разобраться, и в один прекрасный день узнаю: на литературного вора и на клеветников возбуждено уголовное дело. Во всём разобрались и правда восторжествовала — виновные строго наказаны, а мне, потерпевшему, вернули доброе имя. Вот как я понимаю Союз. Это раз. А дальше? Дальше вот как: книгу мою под названием «Сўнми хёвел» (Свет неуга-

симый) уже пятый год директор книжного издательства, закадычный друг того плагиатора и его компаньон, выбрасывает из плана, вернее, переносит из года в год, и я ничего с ним поделать не могу, а он смеётся надо мной открыто и плюёт на меня натурально. Куда я должен обратиться? В обком КПСС? А обкома давно уже нет, в Верховный Совет с этим делом не попрёшь, как-то не принято, уприздат — ненадёжно, слово даёт, а никогда его не сдержит. Остаётся одна надежда — родной и любимый Союз писателей. Вот туда я и иду. Собирается правление. Директор издательства сам тоже писатель, член правления. Все собрались. Обсуждается темплан. Когда дело доходит до заявлений писателей, обратившихся в правление с просьбой защитить их от своеволия издателей, зачитывается и моё заявление: поднимается лес рук в мою защиту, и, наконец, моя рукопись восстанавливается в темплане и будет издана в ближайшее время. Вот это я понимаю. Такой Союз мне нужен. И не только мне, надеюсь.

Когда честь и достоинство писателя надёжно охраняется, когда охраняется и хлеб его — писатель уверен, что в ближайшее время он не умрёт с голоду, ибо есть несравненный благодетель его и защитник — Союз писателей.

Пойдём ещё дальше. В-третьих, писателю ведь и квартира нужна и иные блага. В застойные времена в Союзе писателей Чувашии этот вопрос решался, прямо скажем, неплохо, даже не члены и то получали отдельные квартиры с удобствами. Нужен нам такой Союз? Очень даже нужен. А путёвки, а командировки? Компенсация и всякая другая материальная помощь? Дорогие мои! Я вот, вышибленный в 1979 году из Чувашского книжного издательства по «собственному желанию», уже который год сижу дома. Было время, жил на шестидесяти рублях в месяц, иногда — на семидесяти. И так — все десять лет. Куда бы я делся без Союза? Подох бы с голодухи — ведь до сих пор по специальности никуда на работу не беру.

Но это — иллюзия, такой Союз, скажете вы, мечта, мираж. Да, я согласен — иллюзия. Но куда деваться? Неужто опять идти друг на друга с идеологической дубиной, мол, ты — враг народа, а я — нет. Многие из нас, пусть и в разной степени, заражены большевизмом, плохо переносим инакомыслие. Нужно объединить лучшие духовные силы республики вокруг идеи возрождения родной чувашской культуры. Лучше спокойно разойтись, без истерик и взаимных оскорблений. Тогда у одних, возможно, ослабнет тайный комплекс писательской неполноценности, а у других возникнет необходимость глубины, без которой тоже нет подлинной литературы.

Ну, как же, всё-таки, быть, на чём мы остановились? Ах, на том, что всё гудит и всё шумит и толку нету. Нет толку — нет и порядка. Вот, вот... Хватит, братцы, пора, кончаю. И пусть шумят, гремят витии, кипит словесная война, как в своё время говаривал Николай Алексеевич Некрасов. Ведь и тогда было шумно, но ничего, образовалось, всё пришло в норму. Дай срок, и у нас всё образуется. Будет ли в стране порядок, сказать не могу, но в душах — должен быть непременно.

С того момента, когда я написал это, прошло около двадцати лет, но ни в стране, ни в душах наших пока особой радости и отменного порядка, увы, не наблюдается.

Время шло, и нас покидали навсегда самые близкие нам люди.

Бабушка моя Агриппина Емельяновна умерла в октябре 1967 года 83 лет, но горечь и боль утраты до сих пор остры, я до сего времени никак не могу привыкнуть к тому, что её нет и никогда больше не будет.

Отец оставил нас 7 августа 2002 года. Светлой памяти его в горе своём неизбежном я написал большой цикл скорбных стихов.

Я уже писал, что «мой старый отец» — Егоров Павел Гаврилович — инвалид Отечественной войны, награждённый боевым орденом и медалями, перед войной попал в

репрессию, но из тюрьмы был выпущен и отправлен на фронт, где защищал Москву на Волоколамском направлении. В то время, когда его «срезали» фашисты, наши наступали на Солнечногорск. Отец был первым номером пулемётного расчёта. С поля боя его, в конце декабря 1941 года, тяжело раненного в левое плечо и грудь, вытащил на плащ-палатке пожилой солдат Кторов, по национальности русский, из Горьковской области. Названия деревни и района отец не запомнил и сколько ни искал спасителя после войны — не нашёл: видимо, товарищ не вернулся с фронта живым. Так вот, отцу нашему в декабре 2002 года исполнилось бы 90 лет, несколько месяцев не хватило, Бог его сохранил и уберёт и от гитлеровской разрывной пули, и от сталинских концлагерей, но не смог спасти от духа смерти Эсреля.

Отец с матерью, Верой Гавриловной, воспитали и вывели в люди семерых сыновей и двух дочерей. Из сыновей — два писателя: Михаил Сениэль и Иван Егоров; два учителя музыки: Петр Павлович и Владимир Павлович; один — Николай Павлович — директор гимназии, математик; один — Григорий Павлович — преподаватель музыкального училища, филолог; и один — ответственный работник одного из ведомств, по образованию тоже гуманитарий, — Сергей Павлович. Дочери — Зинаида Павловна и Елизавета Павловна — также стали полезными людьми, воспитали достойных сыновей и дочерей. Одна из внучек отца Светлана окончила университет по специальности чувашский язык и литература, другая — Вера — художественно-графический факультет, а два внука, сыновья Сергея Пётр и Антон, учатся в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО), которые как мне, так и космонавту Андрияну Николаеву — племянники. Другие внуки: Павел и Андриян — инженеры, Людмила — врач... Одним словом, «мой старый отец», а точнее говоря, наш любимый атте (отец) прожил жизнь достойную и заслуженную. Перед Богом и перед родным народом его совесть чиста — он

исполнил свой человеческий долг на земле и не боязно было ему предстать перед Всевышним и держать ответ не только за себя, но и за чад, порождённых им с божьей помощью.

На пройденном мною пути попадались и добрые ровесники. Аристарх Дмитриев помог мне пробиться в чувашскую печать. Когда я в Чебоксарах в газете «Коммунизм ялавлӑ» проходил производственную практику, он 25 июня 1965 года опубликовал два моих стихотворения («Посреди степи» и «Жизнь прожить бы...») в молодёжной газете «Ҷамрӑк коммунист» (Молодой коммунист) с напутственной «врезкой», где было сказано, что Михаилу Сениэлю 24 года, он студент четвёртого курса Казанского университета. При содействии нового друга я в 1966 году в альманахе «Родная Волга» напечатал уже целую страницу стихов. Напутствие его перед подборкой было очень тёплое. Выпустить первую книжку помог тоже Аристарх Дмитриев. Но он рано понял, что помогать мне опасно, и отошёл от меня, примкнул к моим «друзьям» и сделался потом моим «короткометражным» сальери.

На чувашское радио пригласил меня не ровесник, а аксакал Кузьма Чулгась, благодаря ему в течение 15 минут в эфире звучали мои лирические стихи.

В Москве впервые мои вещи стала печатать в 1975 году «Литературная Россия». Ровесник Ильгиз Каримов (сын Мустая Карима) напечатал мою статью о сборнике стихов Сергея Есенина, изданном на чувашском языке в Чебоксарах. Другой ровесник русский поэт Александр Бобров перевёл четыре моих стихотворения и предложил «Литературной России». Напечатали. Потом я стал постоянным автором этого издания. В год моего 50-летия заведомо национальной литературы Борис Авсарагов и главный редактор Эрнст Сафонов оказали мне большую честь: выделили для моих стихов больше половины газетной полосы.

Кроме этого еженедельника, я печатался в столичных изданиях «Комсомольская правда», «Советские проф-

союзы», «Москва», в альманахе «Поэзия», в коллективных поэтических сборниках.

В московском издательстве «Современник» изданы две мои книги «Удача» и «Лунные ночи», третья «Песня джигита» не успела выйти из-за начавшегося смутного времени. Помогал в выпуске книг друг Боброва Вадим Дементьев.

Мои стихи печатались также в газетах и журналах Казани, Самары, Саратова (журнал «Волга»), Кишинёва, Ленинграда и других городов.

Я — автор 16 книг поэзии, прозы и переводов на чувашском и русском языках; пять книг — на русском языке. Кроме русского, мои произведения переведены на 15 языков, в том числе — на польский, шведский, итальянский, французский, английский и японский языки.

В последние годы я готовил к изданию собрание своих сочинений. Теперь все 9 томов готовы и ждут своего издателя: 6 томов — на чувашском языке, 3 — на русском.

Обо мне и моём творчестве написано огромное количество заметок, статей, рецензий, пасквилей, доносов, пародий и эпиграмм на чувашском, татарском и русском языках в Казани, Чебоксарах и Москве (может, и в других местах). Одни авторы в них утверждали, что я бездарный подонок, где в основном преобладали весьма пронизательные, психоаналитические суждения об авторской установке, смешанные с каким-то вульгарно-извращённым марксизмом, другие утверждали, что я чуть ли не гений и прекрасный человек. И я, зная себе цену, и тем, и этим не вполне доверяю. Я есть я и этим всё сказано, а об остальном скажет потом время.

Талантливый чувашский романист Иван Егоров создал роман-эпопею «Белый свет» в трёх книгах. Вся третья книга — обо мне, «житие святого Михаила», так сказать. Он изобразил меня там таким, каким на самом деле я и являюсь, без утайки и лукавства, без уменьшений и преувеличений. Большое спасибо ему за это, дай Бог ему здоровья и многие лета счастливой жизни, новых успехов в творческих делах.

Я побывал в шести странах: на Украине, в Казахстане, Латвии, Чехословакии, Германии и Польше. В Праге влюбился, написал об этом поэму «Юлашки юмах» (Последняя сказка). Аннушка Нечесалова была словачка, училась на пятом курсе экономического факультета университета, при расставании плакала, подарила фотокарточку, мы долго переписывались, но я был женат...

Вот и подходит к концу моя довольно сумбурная, но честно написанная «Своевременная автобиография». В том, что она своевременна, я не сомневаюсь, на то есть свои причины. Они не только в том, что мне скоро семьдесят и я до этого никогда не писал автобиографий для печати, но и в том, что мы живём в стране, где свирепствует беспредел, и мы не уверены в дне завтрашнем.

Мои друзья Порфирий и Юрий жизнь свою проживают как лицемеры и фарисеи. У них жизнь, как у чемодана, — с двойным дном, а души — продажные и предательские. У них очень рано произошло раздвоение личности и это их погубило, это потушило в них данную Богом искру, и они выдохлись, уже давным-давно ничего путного не пишут. Мы внешне и до сих пор дружим, а внутренне ещё со времён «туманной юности» — враги. Они меня не смогли погубить ни телесно, ни духовно. Я и сейчас творю свои произведения с воодушевлением, то есть воспринимаю мир непосредственно и искренно, всей душой и с большой радостью. Самые трагические стихи пишу я в самозабвенные минуты творческого взлёта, преодоления скорбей, освобождения от пут, в минуты музыки печальной, льющейся из души мира, вселенной.

Как и в юности, я иду к Истине, Красоте и Любви, не переставая любить жизнь и поэзию.

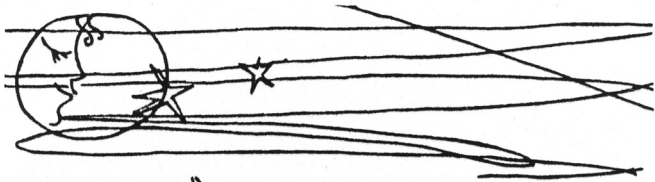
Я ещё жив, не умер, может, даст Бог, проживу долго, до ста лет, а дух мой, надеюсь, вообще не умрёт...

*30 июня 2008 года,  
Чебоксары.*

**Михаил СЕНИЭЛЬ**



Суллобберету



# ЮНЫЕ ГРЁЗЫ

## ОЖИДАНИЕ

Ожидание, как обещание.  
Опасно, милая, обещать  
и особое внимание  
на это обращать.

Мы стоим в ожидании:  
вот кто-то вот-вот войдёт.  
Ожидание, как гадание.  
Ожидающий — идиот.

Я молодой да ранний.  
Об этом не знает никто.  
Опасно, милая, заранее...  
Мой смысл ожиданья не в том.

Ожидание, как обещание.  
Мне обещано... я буду ждать.  
Мне бы — зрелость, мне б — возмужание.  
Вот чего ожидаю всегда.

*1956*

## ГЛАЗА

Дождь хлынул, грянул многострунно.  
Агитбригада всей гурьбой  
в дом лесника вбежала шумно —  
и пусто. Только ветра вой.

Куда же я смотрю? И где я?  
Какие слышу голоса?  
О боже, что же разглядел я? —  
бездонно светлые глаза.

И посегодня не забуду  
ту налетевшую грозу.  
Глаза, я взгляд ваш вижу всюду,  
как будто света полосу.

Тогда защиты вы просили  
в объятьях грома. И в ответ  
свет отзывался эхом сильным  
в душе поэта юных лет.

Тогда просили вы защиты —  
в лесу, под ливнем молодым.  
Неужто чувства были скрыты  
румянцем вспыхнувшим моим?!

*1955*

## ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Бассейн неба ясный, светло-синий.  
Пришкольный сад на солнце — изумруд.  
Прощай же, лето! Здравствуй, день осенний,  
зовущий нас за парты поутру!

Поля родные мысль в нас пробудили,  
и беспокойны стали мы душой,  
за лето все на славу потрудились,  
и это — сердцу отдых и покой.

Горит в стремленьях к знаниям мысль наша, —  
не гаснет, бьётся дальний огонёк.  
Наш выпускник — доярка, землепашец —  
влюблён в село, в родимый уголок.

*1956*

## В ШКОЛУ...

*Марусе*

Из Саврашбуси на Аксу —  
путь трудный: топи, бездорожье...  
леса... леса... Зимой в лесу  
чуть легче, коль лыжня хорошая.

И то — когда не непогода.  
Весной иль осенью, когда  
повсюду слякоть, грязь и воды,  
ну просто сушая беда!

В лаптях, мы тонем в колее.  
Мы стынем, мёрзнем, погибаем,  
еженедельно покрывая  
вёрст двадцать пять иль более.

Мы ходим в школу. Провиант  
все на горбу своём таскаем,  
уроки много пропускаем.  
Но кто же в этом виноват?

Вот шепчет утром мать отцу:  
«В твою шинель его оденем».  
Ах, как не хочется в Аксу  
под мелким дождичком осенним.

Маруся, милая Маруся,  
ты остаёшься в Саврашбуси,  
в Аксу не ходишь с нами ты,  
не знаешь нашей маеты.

От Саврашбуси до Аксу  
дорога — не дорога. Тьфу!  
А от Аксу до Саврашбуси  
дорога хороша, Маруся...  
1956

## ВИДЕНИЕ

Над Сульчою — злые ветры.  
Над Сульчой — дожди, туман.  
Без любви, надежды, веры  
разбрелись вы по домам.

А я — на холме остался.  
В забыты, вдруг, не во сне,  
вижу: скачет парень статный,  
воин строгий, на коне.

«К Волге Черемшан уходит,  
а к нему спешит Сульча,  
я сказал ему, — н а ш вроде,  
ты — куда в сей поздний час?»

— «Высмотреть мне место надо.  
Высмотрю, поставим град.  
Хватит под ярмом стонать нам,  
дальше так нельзя, о, брат.

Мы хребет ломаем вражий,  
перебьём их как собак...»  
Я узнал тебя, о, княжич,  
я узнал: ты — Аксубай!

Носит имя Аксубая  
Аксубаево-село.  
Верх тут есть и низ у края.  
Верх и низ — добро, не зло.

Верх — любовь, надежда, вера.  
Низ — бессмертная Сульча.  
Над Сульчою — ветры, ветры:  
свист стрелы и звон меча...

*1956*

## ГРУСТЬ

*Лене Красновой*

В лаптях я. В ватнике. В лохмотьях.  
А Вы — в пальто и шляпе... Пусть...  
Я перед Вами кто? Урод я.  
Но Ваших глаз я не боюсь.

Мне грустно? Да. Но — не печально.  
Но не скажу, что — оттого,  
что весело всем вам ночами  
и не о нас ваш разговор.

Вы, отпрыски районной знати,  
в нас видя быдло, сами — дрянь.  
Не признан я пока, но знайте:  
я духом божьим обуян.

Умру ли признанным? Не в этом  
ведь суть-то. Не за то я бьюсь,  
а бьюсь, чтоб стать большим поэтом,  
и стану им, коль не сопьюсь...

*1956*



## ЮНЫЕ ГРЕЗЫ

Бывая в толкучке школьной  
похожим на чудака,  
душой я свободный, вольный  
и сильный — чудо как.

Пусть кличка моя «Байрон»,  
пусть слабо пишу пока,  
я стану настоящим парнем.  
Меня не сломит ни грусть, ни тоска.

Ни под кого петь не буду...  
В лирическом бреде  
я путь свой себе добуду.  
Я отведу беду.

Не быть душевной разрухе,  
не быть, чтоб там была дыра.  
Я долго не приду к подруге,  
как в сказке — Иван-дурак.

Не пери и не принцесса  
ждать будет меня столь  
у родника, близ леса —  
не дура-Нарспи, а ... Ассоль.

Нелёгкой путь-дорога  
окажется с ней в беде.  
Я буду любить её до гроба,  
и оба умрём в один день.

В Шираз я поеду в составе  
поэтов в девятнадцать лет.  
А памятник мне поставят  
в моём родном селе...

*1956*

## ОБОРВАННЫЕ СТРУНЫ

Всё равно мне: Люба ты, Венера...  
Пел смычок: «Подруга — жизни ось».  
То не скрипка, а душа звенела,  
что-то там теперь оборвалось.

Были ночи, были очень бурны.  
Делать этой ночью что же нам:  
не поют оборванные струны,  
лишь поёт над речкой тишина?

Я хочу в той тишине растаять  
соловиной трелью огневой.  
А с тобой пришла пора расстаться  
с раной в сердце, с раной ножевой...

*1956*

## СОМНЕНИЕ

Я слушал «Сомнение» Глинки,  
его же — «Не искушай».  
В них грусть, лебединые клики,  
послышались невзначай.  
Тоску и тревогу услышал,  
смертельную пустоту.  
И не было голоса свыше.  
Потух, растерялся я тут.  
Мечты полетели к чёрту.  
Могилой мой выглядел путь.  
И я потерял надежду  
надеяться на что-нибудь.

И вот лебединые клики —  
вдруг вновь: на дворе — месяц май.  
«Сомнение» вспомнилось Глинки,  
его же — «Не искушай».  
Но гибели в них не услышал,  
забыл и пустоту.  
И, братцы, был голос мне свыше,  
что голос и я обрету,  
что страхи все выброшу к чёрту,  
и прямо проляжет мой путь,  
что снова найду надежду  
надеяться на что-нибудь...

*1956*

## ТОСКА

Сад мой душевный без розы — пустой.  
С нею он — рай.  
Роза моя золотая, стой,  
не исчезай.

Но ты «исчезла» — в садах городских,  
счастье ища,  
чахнешь в разлуке... Моя от тоски  
плачет душа.

Плач сей внимают весна и заря.  
Плакать не смей.  
Плачешь по розе напрасно и зря,  
о, соловей.

Тихо покинул вот комнату я.  
Тропка узка.  
Ночь соловьиная... Трель соловья...  
Скука... Тоска...

*1956*

## ДУМЫ И МЕЧТЫ

Ночь. Тишина. Глухо. Это — ужасно...  
Ранней весною  
думы-мечтанья кружатся, кружатся  
в тьме надо мною.

Слышу и слушаю я голос тихий:  
«Стань ты зарницей,  
друг, приближай новый день в краю диком.  
Край твой — темница.

Путь освещай для идущих к рассвету.  
Вешней зарёю  
скоро займётся восток в ярком свете.  
Станешь героем».

Голос, о голос! Ты тихий, но строгий  
в твёрдом изгибе.  
Знаю я, ждёт нас на этой дороге  
тайная гибель.

Думы мои и мечты! Я вас принял  
ранней весною:  
кличьте, кружитесь, маня, в небе синем —  
в тьме надо мною...

1956

## ОТЗВУКИ

Детство, детство голубое!...  
Радости хоть и не видел,  
оглянуться всё же стоит.  
Я — спокоен, не в обиде.

Без еды и без одёжки...  
Всё — болезни, всё — несчастья...  
Эту жизнь и вспомнить тошно,  
улыбались мы нечасто.

Беспризорность и сиротство...  
Но не власти мрут как мухи:  
за налог козу — вот скотство! —  
забирают у старухи.

И надлом в душе, и подлый  
страх, и — совесть... совесть:  
шум беды, беды народной  
слышу я в ночах бессонных.

И меня в те дни, волчонка,  
раздавить судьба хотела.  
В детстве не был я ребёнком,  
не пришлось, прости, что делать...

Грустно-грустно... Больно-больно...  
Вот что сделало со мною  
детство, детство голубое,  
опалённое войною.

*1956*

## ПРЕДРАССВЕТНЫЕ СНЫ

Погасли багровые  
крылья заката.  
Округа, село  
сном тяжелым объяты.

Но сны надо мной  
не спуют, не витают.  
Лежу как в могиле,  
лежу и страдаю.

Всю ночь о тебе я,  
Тамара, мечтаю,  
без сна, как в бреду,  
своё сердце терзаю.

Не в силах терпеть,  
прокричу тёмной силе:  
«Ты ждёшь, чтоб висел я  
на горькой осине!»

Но вот вдалеке  
подмигнула зарница.  
Чу... кто там вдали,  
это ты, озорница?

Хоть больно, всё ж как-то тепло,  
я ступаю  
на тропку фантазий  
и вдруг... засыпаю.

Во сне обнимаю тебя  
и целую  
и песни пою —  
про любовь, про святую.

О сны предрассветные!  
В тихой печали,  
мне душу лаская,  
вы светлы ночами...

*1956*



## ДОЖДЬ В АВГУСТЕ

Сквозь шелест струй я чую у ворот  
дыхание невидимого друга.  
Покой и темень. Пряжу снов прядёт  
уснувшая, но чуткая округа.

Но кто же, кто раздумывает там,  
вздыхает над неведомым вопросом?  
Ах, это, вишь, дождейки льнут к листьям,  
и вздрагивает белая берёза.

И я промок: и плечи, и спина.  
Дожди твои теплы обычно, август,  
пускай идут, но темень, тишина  
стоит почти как осенью, однако.

В округе — ночь, где пляшет летний дождь,  
а сам совсем не летний я, весенний.  
Соблазны тайн не смогший превозмочь,  
ищу везде их сладость и веселье.

Чу... не аккорды ли гитар? Нет, дождь.  
И час, и два его лишь всплески слышу.  
Он будет до утра стучать о крышу,  
когда вернусь под кров... Я вышел в ночь...

*1956*

## В ЮНЫЕ ГОДЫ

Сбиваться, попадать в «чащобы»  
нетрудно в юные года.  
Я ошибаюсь, может, чтобы  
не ошибаться никогда.

Судьбу страны народ решает.  
Чтоб не остаться в стороне,  
стараюсь, самоочищаюсь, —  
а сколь порочных черт во мне...

Упорство выручает в этом.  
Я опасался: врёт, не врёт? —  
что скажешь, мёду не отведав,  
ведь не воскликнешь: «Сладок мёд!»

Приятно чувствовать и слышать,  
что сын не сводный ты стране.  
За тех, кто к делу равнодушен,  
печально мне и стыдно мне...

*1956*

## БУРИ

Шторм? Иль ад ревет, бушует?  
Шторм. Биясь о грудь земную,  
всё чернее глыбы волн!  
Соблюдая свой закон,  
корабли выходят в море;  
корабли уходят в море,  
чтоб сразиться на просторе  
с бурей. Бури — страх и горе.  
Девять баллов! День суров.  
Гибель — близость берегов.

Шторм! Но бури-ураганы  
охлаждают не только на морях.  
Есть везде. Сильны сильнее.  
И жестоки, и коварны —  
зарождаются в сердцах;  
огненные всех страшнее.  
Что ж! С презреньем зубы сжав,  
бой прими за жизнь, за правду:  
так ударь, чтоб не повадно  
было всем, кто за пожар!...

*1955*

## НЕ БАЙРОН

*Нет, я не Байрон*  
М.Ю. Лермонтов

В те дни я был совсем другой.  
В глазах моих огонь мятежный  
горел, пронизанный тоской,  
а волос вился в кольцах нежных.

Пытая ненасытным оком,  
спокойно, вежливость храня,  
прославленная интриганка,  
великовозрастная Галка  
вдруг на собрание общешкольном  
сказала: «Байрон, взгрей меня!»

Сказала и всего зажгла.  
Улыбочкой играя алой,  
цыганкой наглою прошла.  
Собрание только начиналось.

Я — Байрон? Странно... Ха-ха-ха!  
Хоть сам смеюсь как бы польщённо,  
но бьётся сердце учащённо,  
как пульс прекрасного стиха.

Трибуна. Тишь. Я вышел. Хаю  
лентяев-двоечников. Страх.  
Горю, потею, задыхаюсь.  
И зал — в руках, и зал — в руках.

В себе почуял легкость птичью,  
впервые силу ощутив:  
я не боюсь косноязычья —  
я говорю, красноречив.

Сразил тут завуча-зануду,  
тут и стихи нашли свой путь.  
Навряд ли Байроном я буду,  
но Хузангаем — как-нибудь!

*1957*

## ПРОСТИ

Не мне, в душе обман скрывая,  
сусальные стихи строчить.  
Я никого не завлекаю,  
но не могу без музыки жить.

Как хорошо излить всю душу.  
И вправду, с песней веселей:  
ревёт огонь — она потушит,  
коль нет огня — так будет с ней.

Ах, Нина, не к добру я встретил  
тебя, прости, горю, горю.  
За что — я не могу ответить,  
прости, прости, благодарю...

*1957, январь*

## ВЕТЕР НЕ СЛЫШИТ

Ночь... Темно...  
Никого нет со мной.  
Аксубаевский ветер,  
мне ты близок, ответь ты:  
зачем ты так воешь,  
ну что, что такое?  
Но ветер не слышит  
и воеет по крышам.  
А я жду, одиноко.  
А в окне — огонёк.  
Аксубаевский ветер,  
мне ты близок, ответь ты:  
зачем ты так воешь,  
ну что, что такое?  
А я жду, одиноко.  
А в окне — огонёк.  
Нина, Нина,  
я люблю и пою  
одну песню твою.  
Звонок голос твой, Нина.  
Я люблю напевать  
«Севастопольский вальс».  
Долго жду, одиноко.  
Уж потух огонёк.  
Не дождусь никогда.  
И зачем больше ждать?  
Ночь... Темно...  
Никого нет со мной.  
Аксубаевский ветер,  
мне ты близок, ответь ты:  
зачем ты так воешь?  
И что, что такое?  
Но ветер не слышит  
и воеет по крышам...  
*1957, март*

## ПОСЛАНИЕ К НИНЕ

Ах, Нина, мне беда с тобой.  
Зачем всё смотришь так презрительно, но... жадно?  
Обманут я жестоко, беспощадно  
моею горькою судьбой.  
Твоё презренье сердцу нож.  
Страдать всю жизнь мне суждено.  
Стою, как громом поражённый.  
Надменен? К чёрту! Я, рожденный  
в глуши лесов саврушеского края,  
в капкане чувств медведем погибаю.  
Браниться будешь ты за это,  
прощать не в силах всё поэту.  
Я — жертва сплетен, клеветы.  
Не вы ли все меня вначале  
«поэтом Байроном» назвали.  
Улыбка... Взгляд... Всё это ты.  
О, мне бы Гамлета терпенье,  
его жестокий странный ум.  
Какое б было наслажденье  
сразить коварство! Я ль не юн!  
Но, слабый волею, прошу ответа снова,  
проклятия хотя б, четыре слова...

*1957, март*



## НАСМЕШКА

Сердце беспокойное моё,  
сердце, о любви всегда поёшь.  
Меня бойкот друзей духовно убивает.  
Я плачу, плачу, да, но всё скрываю.

О, други, вы врагами стали.  
Мои стихи, писать вас перестану.  
Да, больше стих мне не создать.  
Прощай, о муза, навсегда.

Я — Байрон, милые? О нет.  
Не гений я, я ж только начал,  
но горд, как он, а это значит —  
поэт, хотя и не поэт.

Клеветуют, лгут, пищат, шипят, как змеи,  
лепечут, будто б не умею  
я делать образы. Меж всеми разговор,  
что я в словесности есть вор.

Сердце бессердечное моё,  
что же ты мне только о друзьях поёшь?  
Меня н е в е р н а я насмешкой всё терзает.  
Я плачу, плачу, да! Но всё скрываю.

*1957, март*

## ЛУННЫЙ СВЕТ НА РЕКЕ

Бежали мы. И лес глядел  
на нас ночным угрюмым взглядом.  
Бежали мы. И лес редел,  
что означало — берег рядом.

Тот детский страх! Я за спиной  
опасность чувствовал, погоню.  
Как вышли на берег ночной,  
теперь уже едва ли вспомню.

А там — глядите, пацаны,  
вот это да! — в подлунном мире  
на три волшебных стороны  
сияют сказочные шири.

Водоворотами реки  
свет искруплён, искрятся воды.  
Вихрятся, пляшут огоньки  
на тайном празднике природы.

Но что такое? Что за власть  
огни веселья убивает?  
Свет убывает, убывает  
и вот готов уже пропасть...

Но нет! Опять луна с небес  
незамутнённо поглядела.  
И вновь огни играют смело.  
Угрюм один лишь только лес.

*1957*

## ФАНТАЗЁР

Ест, живёт и всё мечтает  
Муллин; в мыслях улетает  
он, как лётчик, высоко  
и куда-то далеко.

Там наш друг — или разведчик,  
иль бесстрашный пулемётчик,  
или рядовой Матросов,  
или Балтики матрос он.

Раз, однажды, видел сон:  
ночью вражьи эскадрильи  
Аксубаево бомбили,  
и враги нас осадили,  
но село мы защитили —  
был и здесь героем он.

Знать хотим мы: а ты, Муллин,  
на уроке не уснул ли,  
каким образом, герой,  
в «двойках» весь, мой дорогой?!

*1957, март*

\* \* \*

Не правда ль, в детские года  
у нас душа — родник прозрачный.  
Не отличаем кровь тогда  
мы в людях светлую от мрачной.  
Не правда ль, столько впереди  
ждёт нас тогда добра и дива.  
Ты, детство, светишься счастливо.  
Будь ласково — не уходи.

О детство, в сердце ты моём  
будь неизменно, золотое,  
чтоб в человеке мне любом  
не видеть лишь одно худое.  
Звездой единственной веди,  
сияя мне во тьме кромешной,  
будь ветром в смене лет поспешной,  
но только лишь — не уходи.

Людей не то что не люблю, —  
гляжу теперь на них я строго,  
и кто каков, я уловлю  
и не сочту уже за бога.  
Не прав, быть может, но пойди  
узнай, в каком я заблуждён...  
Душа пылает в раздвоеньи.  
О детство, ты не уходи!

*1957*

## ВОСПОМИНАНИЕ О ДРУГЕ

Насмехались — молчал. Пусть смеются.  
Как ни вызовут — всё не готов.  
И краснел, и не смел улыбнуться  
молчаливый Толя Петров.

У доски он краснел раз за разом,  
а на завтра — не знает опять.  
Мы Петрова стыдили всем классом —  
сколько можно-то двойки хватать!

Он и в бурю стоял, как былинка —  
не брала ни обида, ни страх.  
И не вспыхивала улыбка —  
лишь неясные искры в глазах.

Перед матерью парня ругали  
и на нескольких сборах подряд.  
Он выслушивал молча, и в дали  
устремлял свой невидящий взгляд.

Видно, слушать — неинтересно.  
Рядом с партой стоял как немой,  
сам — далёко, а где — неизвестно.  
Тень его уходила домой.

Как-то вечером шёл мимо дома,  
голос скрипки звучал в их саду.  
За забором стоять неудобно,  
но взяло любопытство. А ну!

Я вскарабкался — в темени зыбкой,  
словно пламя, смычок воспарял.  
Мальчик в белой рубашке со скрипкой  
светлым парусом в бездну нырял.

Да и парус-то — в пламени, в дыме.  
Что за музыка!... Вот он каков —  
ах, ты, дьявол!... Ну да, Паганини...  
молчаливый Толя Петров!

*1957*

\* \* \*

Пусть в детстве были мы друзья,  
забудусь, как звезда ночная,  
что в небе вспыхнула, сгорая.  
Твой старый друг, забудусь я!

Когда вернулась радость в дом,  
кто вспоминать о бедах будет?  
Когда сам возраст чувства студит,  
бледнеет память о былом.

Что старый друг, когда уже  
десятки новых устарели.  
И обжились в твоей душе  
иные дни, иные цели.

Но во внезапный час беды,  
когда так трудно без защиты,  
зови меня на помощь ты.  
Зови. Приду. Забыв обиды.

*1957*

## О ТРУДЕ

Друг сказал: «Пишу стихи я,  
но — беда, какая мука!  
Думаю, что вся алхимия  
в том, что слаб пока в науках».

— Но иной, будь и учёный,  
на парнас попасть не может...

«Или мало в жизнь влюблён я?»

— Нет, влюблён вполне, но всё же...  
Больше всё ж труда гореньем  
нужно б интересоваться.  
Труд — источник вдохновенья.  
Труд — надежда стихотворца.

... А о том, что труд мартышкин  
есть, — молчу... Об ухе... Мишке...

*1957*



## ЮНЫЙ КОММУНАР

Старательно прицелы проверяют.  
Упал. Грозит им кулаком. Встаёт.  
Как для забавы, в храбреца стреляют.  
Он весело кричит. Почти поёт:  
«Да здравствует коммуна!»  
Бах!  
Ах!..  
Застлало дымом.  
Мальчик — на камнях.  
Но вновь поднялся. Всё лицо в крови:  
«Не радуйтесь, стервятники! Задаром  
коммуна не умрёт...»  
Но коммунарам  
версальцев не осилить. Снова: пли!  
И залп последний — в сторону юнца.  
Мне страшно от неравной схватки...  
Надо  
в поэзии остаться до конца  
таким, как ты, Гаврош, — сын баррикады!

*1957*

## ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

Зима ушла. Короче стали ночи.  
Вот — март, апрель... за ними — светлый май.  
Весна! Цветёт сирень, и жизнь сама  
и нам разлуку вечную пророчит  
с тобою, юность! Жизнь сошла с ума.

Кто хочет жить и пламенно, и истово  
с огнём в очах и с солнышком в крови,  
жить вечно юным, тот живи. Живи!  
И не о том ли соловей насвистывал  
в садах весны — о вечности любви.

Ушёл и май. Июнь пришёл за маем.  
Настал, друзья, сегодня и для нас  
час расставанья, расставанья час —  
в последний раз друг друга обнимаем,  
и школьный вальс звучит в последний раз...

*1957*

## НА ВСЮ ЖИЗНЬ...

*Вале Зотовой*

Прощай, Валюша... Я волнуюсь...  
Прости меня... Пришла пора...  
С тобой прощаюсь и целуюсь  
я в первый и последний раз.

Не оттого тебя запомню  
надолго или на всю жизнь,  
что ты была мне словно поле,  
где нагулялся от души,

где рвал цветы, в траве валялся,  
где делал всё, что захотел:  
то тихо вёл себя, то властно,  
то дерзок был, то был несмел,

капризничал и зло смеялся,  
одно коварство возлюбя.  
И ревновал, и измывался...  
Но ты — не поле, я — не я.

И всё ж люблю тебя как поле,  
где — рожь и солнышко с утра.  
Я оттого тебя запомню,  
что мне была ты как сестра.

Ты солнечна, чудна собою —  
отрада сердца, свет души.  
Я оттого тебя — запомню,  
и не забуду я — всю жизнь...  
*1957*

## В РОДНОЙ ШКОЛЕ

Навестить, увидеть снова,  
как сейчас, через года  
эту школу, эти стены  
приведётся ли когда?

Здравствуй, детство, и — прощай!  
Здравствуй, школа, и — прощай!  
Говорю как будто «здравствуй»,  
получается — «прощай»...

*1958*

## В РОДНОМ КРАЮ

О чём шумишь ты, лес дремучий?  
О чём молчишь ты, бережок?  
Вас что на родине всё мучает  
и что вам здесь нехорошо?

Какая мысль вам сердце гложет,  
сжигает душу, память рвёт?  
Жизнь земляков моих, быть может,  
нужда их, горе, власти гнёт?

Скажите мне, и я узнаю  
как далеко беда зашла.  
Меня любовь к родному краю  
всегда и мучила, и жгла.

Ещё когда мы будем вместе,  
о край любимый и родной?  
Всегда, везде звенит, как песня,  
любой твой день, цветок любой!

*1958*

## ДОЯРКА

На свиданье в час вечерний  
я пришла сегодня рано.  
Скоро ль, скоро ли, мой верный,  
ты придёшь ко мне, желанный?

Закружил снежинки ветер,  
словно в вальсе, нежно, плавно.  
В клуб сейчас пойдём мы вместе,  
в новый, что открыт недавно.

Потанцуем там на славу.  
Ты ведь тоже танцы любишь?  
Я скажу тебе лукаво,  
что меня ты не закружишь.

Я хочу, чтоб наши взгляды  
не скрывали тайн сердечных.  
Я хочу с тобою рядом  
быть, любимый, в жизни вечно.

Закружил снежинки ветер.  
Ты — студент, мой друг, поэт ты.  
Ждёт доярка в этот вечер  
своего «интеллигента...»

*1958*

\* \* \*

Ты думаешь, что я грущу?  
Нет, нет, наоборот!  
Я сам не знаю что ищу.  
Чего-то сердце ждёт.

Ты знаешь: яблоня грустит,  
теряя лепестки, —  
и всё ж печальна лишь на вид.  
Печальна... без тоски.

*1958*

## ПЕВИЦЕ

Ты песней струн касаешься сердечных  
и пробуждаешь светлые мечты.  
Все говорят: «Ей весело, конечно»,  
поскольку в песнях жизнь проводишь ты.

Я счастлив слушать голос твой чудесный,  
прозрачный, звонкий, чистый — как весна.  
Но разве только развлеченье песня?  
Родник глубоких чувств и дум она!

*1958*



## ГОРОДОК

Капели мерный стук  
и лиственный шорох.  
Расслабил ночью слух  
наш маленький город.

Дождинки бьют и бьют.  
Добраться бы до света —  
в округе тьма. Снуют  
по скверам дети ветра.

Искрятся провода,  
качаются деревья,  
журчит вблизи вода —  
наш город как деревня.

Но есть у нас завод.  
Сквозь сеть дождя упрямо  
иду, а в небосвод  
уперлись трубы прямо.

Иду, как тополь гнусь.  
Предвестник скорой стужи,  
ныряет белый гусь —  
луна — как в воду, в тучи.

И съжились дома  
как будто в страхе диком  
не оттого, что тьма,  
а оттого, что тихо.

Нет, не расслабил слух  
мой маленький город.  
Капли слышит стук  
и лиственный шорох.

Всю ночь напряжена,  
дрожит звеняще тонко  
над нами тишина —  
мать над больным ребенком.

*1958*

## КОСТЁР

Всю ночь горит костёр в лесу,  
играя тёмно-красным шёлком.  
Не гаснет он — не обессудь.  
Не угасает да и только.

Тут нечего судить-гадать:  
подбавят хворосту — шёлк выше.  
Ой, трудно пареньку, когда  
всё это зубы стиснув пишет.

Ой, трудно юному, ой как...  
Тушить костёр сердечный нечем,  
когда тот хворост — встречи, встречи,  
а милая — бойка.

Ей сердце гордое дано,  
рождён он тоже гордым очень.  
Исчез бы хворост, между прочим,  
костёр потух бы уж давно.

*1958*

## «ДО СВИДАНИЯ...»

Как бела речная пена,  
как нежна её игра!  
С пеной схожа молодая  
друга младшая сестра.

Не звезда на небе синем  
летним вечером зажглась, —  
это Лида вместе с братом  
проводить меня пришла.

Сердце друга понимаю,  
а сестрёнки — не пойму,  
только руку на прощанье  
почему-то крепко жму.

И красавица-девчонка  
от волненья вся горит,  
на слова «ну что ж, прощайте»  
«до свиданья» говорит.

*1958*

## ХОРОШЕМУ МАЛЬЧИКУ

Пусть пока ты мальчик с пальчик;  
ни «мур-мур» в любви ты пусть,  
юный друг, хороший мальчик,  
за тебя я так боюсь.

Брось завидовать поэтам,  
слишком сердца не имей,  
знай же: лишь одни пилоты  
у девчонок на уме.

Юный друг, хороший мальчик,  
за тебя я так боюсь,  
не сердись за “мальчик с пальчик”,  
авиатором ты будь...

*1958*

## НА КАМСКОМ УСТЬЕ

На Камском Устье — тишь, покой.  
Но по реке, там, вдалеке,  
блестит-играет мир ночной:  
на глади вод — огней букет.  
На Камском Устье — тишь, покой.

Как море — устье: ширь, простор.  
И звёздный дождь, и звёзд полёт  
на небе синем и простом  
влекут к себе ночь напролёт.  
Как море — устье: ширь, простор.

Из мрака поднялась луна,  
ширь устья опоясать чтоб.  
Огромна и кругла она.  
Упал на воды красный столб.  
Из мрака поднялась луна.

На Камском Устье — тишь, покой.  
Но что сверкнуло там, вдали:  
зарница или свет ночной  
булгарской сгинувшей земли?  
На Камском Устье — тишь, покой...

*1958*

## ПЕРВОМАЙСКИЙ ПРИВЕТ

Сроднились мы с тобой навечно,  
мой гордый друг, кубинский друг.  
Привет мы шлём тебе сердечный  
за твой высокий смелый дух.  
Сроднились мы в борьбе, я знаю,  
единой думою живём,  
победу вашу прославляя,  
о мире, дружбе мы поём.  
Привет, мой друг, кубинский друг,  
за твой высокий смелый дух.

*1959*

\* \* \*

О жизнь, о море странной юности,  
не понял я твоих глубин.  
А вот теперь как пытка — крайности.  
И что мечусь? Кого любил?

Любви уж нет. Виновен в том я вряд ли.  
Да, губительной она была.  
Не знали мы: нас спугали, украли.  
Я вырвался, а Нина не смогла.

*1959*



## АКСУБАЕВСКИЙ ВАЛЬС

Закат пылает в зареве,  
сад шелестит листвой  
в осеннем Аксубаеве  
вечернею порой.  
На космы туч бродячие  
дивятся фонари  
безмолвные, горящие  
до утренней зари.

Лениво ветер носится,  
от ветра лёгкий свист.  
Творится что-то на сердце,  
душа болит, грустит.  
К чему мне сад и зарево  
без Нины дорогой  
в осеннем Аксубаеве  
вечернею порой?

*1959, сентябрь*

## ВОСЬМОЕ ЧИСЛО

Приветливо март голубой  
кивает тебе головой.  
Почувствуешь радость  
и юности сладость,  
увидев весну пред собой.

Почувствуешь радость  
и юности сладость,  
предвидя Восьмое число,  
хотя ты и знаешь:  
ни в марте, ни в мае  
не будет ни встреч и ни слов.

Почувствуешь радость  
и юности сладость,  
увидев весну пред собой —  
приветливо март голубой  
кивает тебе головой...

*1959*

## МЕДСЕСТРЕ

Взгляд ваш нежен печальный.  
Ах, не слышу боли в груди ничуть.  
Что уж допрашиваете... полно...  
ведь видите: не больно, не кричу.

Стали вы счастье и радость  
моих больничных дней.  
Мальчишество? Глупость? Неправда!  
У меня их, Лилия, нет.

Горит душа сказочной жар-птицей  
назло вечерней мгле,  
хотя вам и под тридцать,  
а мне девятнадцать лет.

*1959*

## ЖЕНЩИНА С РЕБЁНКОМ

Смешно — я женщину с ребёнком  
забыть так долго не могу.  
Она мила как в недалёком  
моя подруга, как девчонка,  
чей взгляд — упрёк, вопрос и грусть.

Хочу любить, любить одну  
большой хорошею любовью.  
Грущу, всю ночь я не усну.  
Так юные не спят в весну —  
сердца с горячей кровью.

О, как хотел бы я вернуть  
Её, посёлок, лес, луну,  
и соловья, и петухов,  
аэродром тот скромный, ветер.  
Без всяких глупостей, грехов  
встречаться снова я готов —  
поговорить и наглядеться.  
Не сам хочу, а хочет сердце...

*1959*

## КАЗНАЧЕЕВУ

Как хороши училища студентки!  
Ах, выбирай, которую хочешь.  
Послушай, Казначеев, детка,  
зачем у крупзавода ходишь?

\* \* \*

Был лёгкостью побед я знаменит —  
среди красавцев просто симпатичный.  
Прощай, о флирт! Тебя я заменил  
большим источником прекрасных сил  
волнений и горений романтических.

*1959*

## ШЛЮХИ

И оттого я невесёлый,  
что некого мне ждать в пути.  
Какие милые персоны!  
А глупы... господа прости.

Признаться, сладеньки их речи.  
Чуть оплошал — наводят тень.  
У них цель жизни — танцы, встречи,  
знакомства по три каждый день.

С чужих столов берут и розы,  
и шоколад, и мелют вздор,  
а на сердцах трещат морозы,  
а грудь томит фальшивый вздох.

Нет, не тебя красотка ценит,  
а деньги. Шлюха. Но мила.  
Ведь жизнь не из спектакля сцена,  
ведь юность с нею вся прошла.

Пять лет любил девчонку честно,  
не провинился перед ней,  
и продалась вот (друг прелестный)  
за тысячу пятьсот рублей.

В тринадцать лет «разбиты окна»,  
не рано ль слишком честь терять!  
И ни одна уж не способна  
ни полюбить, ни ревновать.

Я всё-таки ей благодарен.  
Я очень верным быть могу,  
любить, не забывать годами  
немногих на своем веку.

1959

## ТЮРЕМНЫЙ САД

Я говорю о каждом саде:  
одно из милых мест в Казани —  
цветы в чудесном их наряде  
огнём горят перед глазами.

На молодом своём веку  
гляжу на них я улыбаясь.  
А здесь... Иные здесь цветут,  
иные думы вызывают.

О скорбный сад... В моих глазах  
стоишь слезой ты не напрасно:  
страна вся наша топь, не сад,  
и жизнь цветёт в ней не прекрасно.

*1959, июнь,  
Казань.*

## ГОРОДОК НА КАМЕ

Мне ли Каму-реку  
вспоминать не добром?  
Городок есть на ней,  
и он — в сердце моём.  
Там осталась девчонка.  
И она, как звезда,  
не погаснет в душе  
паренька никогда.  
Нежно, тихо грушу  
далеко, в стороне,  
о глазах голубых  
и о камской волне...

*1959*



## ВЫПУСКНИЦЕ

Уходит твой последний школьный год  
и с партой многолетние свиданья,  
и ты в тревожной власти ожиданья,  
и в то же время — дел невпроворот.

Беспомощна ты, как в безветрии парус.  
Обидчива. И вот как наболит,  
уходишь ты в какой-то высший ярус,  
составленный из грусти и обид.

Но можно ли, минуя всё земное,  
в душе ранимой затаивши грусть,  
хранить в глазах всё небо голубое  
и говорить спокойно что-нибудь?

Я знаю — было счастье для тебя  
как белые, щемящие зарницы,  
что жарко вспыхнут, зыблясь и рябя,  
полнеба взяв в свои лучи — границы.

И я пришёл — твой первооткрыватель,  
пришёл в твой мир слепяще голубой.  
Тебя давно я создал, как ваятель,  
и сам я пересоздан пред тобой!

Из многовёрстой к нам с тобой дали  
пришли зарницы — все, что есть на свете,  
и мы из них два солнца разожгли —  
земной поэзии простые дети.

*1960*

## ПЕР ГЮНТ

Снег падает и падает и падает...  
Он просто ночью хлопьями валит.  
Мой путь далёк и он меня не радует,  
но жизнь торопит и спешить велит.

Безмолвен снег и тишина безмолвна.  
Но слышу я, что долго мне идти.  
Я не простой, влюблённый я бездомник.  
Горят костры любви на всём пути.

О дева юная и светлая, о Сольвейг,  
не забывай меня во все ты дни.  
Суровой, может, будут и грозовой  
они, всё ж свет в душе таи, храни.

Не вовлекись в ничей весёлый заговор.  
Начнут с тобою сразу же роман  
и поведут куда-то тихо за руку  
на заблужденье, грубость и обман.

... Хотя нету здесь, но всё равно со мною  
ты, Сольвейг, дорогой мой человек.  
Поёт неизъяснимой тишиною  
не то душа, не то весенний снег.

*1960*

\* \* \*

Я не первый и я не последний.  
Стать единственным не удалось.  
Для тебя — меж других как бы средний.  
Рад я всё же и счастлив до слёз.

Я пришёл, постучался в оконце,  
а в саду трепетал соловей.  
Я пришёл, как весна и как солнце,  
но тебе — не теплой, не светлей.

Но тебе — не уютнее даже...  
Сердце просит моё объяснить:  
почему и не та ты, и та же,  
тка в коварство любовную нить?

Нет, не та... я увидел... заметил...  
Ты светлейшую скрыла печаль.  
Всё нормально. Всё есть. Всё на месте.  
И тебя, и себя так мне жаль.

Ни худого, ни доброго сделать  
не успел я тебе, не пришлось.  
Вот ведь как... Видно, в этом всё дело.  
Каюсь я беспредельно, до слёз...

*1960*

## МОЯ ЛЮБОВЬ

*Тамаре*

Была любовь моя к тебе  
чиста, светла и добра.  
С душой я, нежно и радостно, пел.  
И вторила мне домбра.

И под мандолину, сáрнай  
успел, был отчаянно смел,  
и — под гитару, и — под палнай,  
а вот под баян не успел.

Тут в нашу любовь вплелись  
недобрые глаза, слова.  
О том, что ты потаскуха лишь,  
нагрета была молва.

О том, что и я не свеж.  
друзья оповестили всех.  
Любовь оболгали всё ж —  
добро, чистоту и свет.

Искусно паутина плелась.  
Любовь моя сгорела дотла.  
Но всё равно она была  
чиста, добра и светла...

*1960*

## ЦЕЛЬ

Пугают одни: крепок слишком орех,  
не разгрызёшь его, не разгрызешь вовек.  
Другие — ободряют, но очень мало верят.  
Третьи — топчутся у открытой двери.  
А зовёт всё же даль, а зовёт меня цель!  
Как сказал юный друг, выбегаю в апрель.  
Выбегаю в апрель и встречаю я друга.  
И ему, как и мне, нелегко всё, а трудно.  
И поём мы вдвоем вам и синим ветрам:  
тарарам-тарарам, та-ра-рам!

*1960*

## БЕЛЫЙ ПИОН

Парень поёт под гитару  
про белый пион,  
про белый пион.  
Знать, настроил не даром  
инструмент грустный он  
под «Белый пион».  
Есть слова и мелодия  
и подходящий тон  
на белый пион...  
Для души, как рапсодия,  
как спасенье, как сон —  
белый пион.

*1960*

## АВГУСТ

Август не весна, но для меня  
он дорог с нею наравне.

И в августе песни звенят  
по ночам в тишине.

И в августе встречи с тобой  
горячи и верны,  
но редко встречаемся мы  
летом звёздной порой.

Мы в страду — как в огне.  
Как и весь сельский люд,  
я с весной наравне  
знойный август люблю...

*1960*

## ЛУЧИ

Колдует ночь над безмятежным миром,  
и гроздя звёзд повисли над плечом,  
но вдруг, как будто яростной рапирой,  
пронзёно небо яростным лучом.  
Прожектора? Иль самолеты в небе?  
А вот другой и третий вспыхнул луч...  
Там, за холмом, в стремительном разбеге  
машины к стройке пролагают путь.  
И никому не заглушить, не застить  
тот дальний свет над крышами квартир.  
Я так читаю эту светозапись:  
«Не быть войне. Нам нужен только мир!»

*1960*



## ИЗМЕННИЦА

Как это нам до ужаса знакомо!  
Была любовь, а ныне — нет как нет.  
Предав меня, она ушла к другому,  
вернее — улетела. И — привет!

Но не хожу я с жалобой к берёзам,  
не рву на голове и волоса;  
готов лихой судьбы к любим угрозам;  
не выплачу от горя все глаза.

А стану сдержаннее и серьёзней  
и заглушу любовь в душе моей,  
отвыкну от неё совсем, от слёзной,  
не буду жалким приложением к ней.

И пусть звенит, звенит в душе луч света  
взамен визгливых звуков, голосов.  
Есть тонкость и здоровье духа в этом.  
Я рвусь вперёд и слышу нови зов.

В судьбе покоя не ищу пока я  
и верю: я любовь найду, найду.  
Мне не страшна измена никакая,  
мне, юному, в сиреневом саду...

*1960*

\* \* \*

Хочу я плакать, а не плачется...  
Хотелось бы заплакать мне о том,  
чего и вовсе нет, а рядом кажется,  
но от меня, как кошка, прячется.  
Хочу я плакать о несбывном, золотом.

Хочу я плакать, а не плачется.  
Хотелось бы заплакать мне, увы,  
о бессловесном, о слепом чудачестве,  
о чувстве светлом, о его ребячестве.  
Хочу я плакать о нерадостной любви.

Хочу я плакать, а не плачется.  
Хотелось бы заплакать мне о чём?  
О том, чего и не было, а значится,  
и вдруг да счастьем нам нечаянно окажется.  
Хочу я плакать... ну а вы-то тут при чём?

*1960*

## ДОЖДЬ КОСОЙ

Дождь косою застыл в окне,  
будто штора,  
гонит солнечную паль  
на просторы.

Опрокинув, исказив  
лес и дали,  
и лилов, и радужен,  
трепетал он.

Нет покоя под дождем  
влажным краскам.  
Свет струится к слою слой —  
не напрасно.

Музыку услышал я  
мировую —  
в немоте мне душу жжёт,  
чую, чую.

Предзакатна, но плывёт  
точно фея, —  
не отжившей, молодой  
жизнью веет.

*1961*

## ПРИЗЫВНИКИ

Липы да клёны, клёны да липы.  
Омыты деревья дождём.  
Светлые речи... Светлые лица...  
Куда же, куда мы идём?

Ласковый домик, ласковый вечер.  
Девчонка стоит у ворот.  
Я ль не замечен, ты ль не примечен,  
но всё же идём мы вперёд.

Видим, смеётся она тонко-тонко  
губами и краешком глаз.  
Нет, не забудем мы эту девчонку,  
пускай не забудет и нас.

Липы да клёны, клёны да липы.  
Омыты... но дело не в том.  
Все молодые мы, все круглолицы,  
гурьбой на призыв мы идём.

*1961*

## РЯБИНКА

Невестою расхаянной —  
рябинка. Погляди.  
Как позднее раскаянье,  
пришли дожди.

Дожди осенние пришли.  
Робки. Тихи.  
Стихи ей шёпотом прочли  
те женихи.

Топтались долго, сеюше  
на месте все,  
дали бусы девушке-  
красе.

Невеста гонит женихов  
в простор полей.  
Она от счастья и стихов  
ещё алей.

*1961*

## ЛЮБОВЬ ПРИЗЫВНИКА

Как попал я в беду,  
ночь провёл во бреду,  
а очухался только под утро.  
Словно лебедь, в палату  
сестричка вошла  
и прошла — привидение будто.

Ну и девка была:  
яснолица, бела,  
словно в мае ночная фиалка.  
За улыбку одну  
рад полсердца отдать,  
а за слово... и сердца не жалко.

Как больным тут лежать?  
Быстро стал оживать,  
а во сне называть её имя,  
и с тревогой большою  
всё думать-гадать,  
не любима ль она уж другими?

«Нет!» — глаза говорят,  
но... и ехать пора  
на границу по зову отчизны.  
За любовь, за отчизну  
расстаться не жаль;  
коль придётся, не жалко и жизни...

*1961*

## УЛЫБКА

Хорошо ль это, плохо ль — не знаю,  
часто ночи один коротая,  
как-то странно-престранно мечтая,  
я любимой звезде улыбаюсь,  
а она мне подругой заветной,  
что согрета любовью ответной,  
с высоты просит будто, смущённо горя:  
«Прилетай, поспеши, парень, в наши края».

*1961*

## СЕЛЕНИЕ

Вновь я — в селении этом!  
Вновь — детвора, зной... Вновь — лето.  
Речка. Нет речки счастливей —  
плещутся дети в заливе.  
Плещется солнышко тут же, гусята,  
а чуть поодаль — визжат поросята.  
Мерину сивому место — в осоке.  
В небе бездонном — коршун высокий.  
Ива плакучая где ж притаилась?  
К мокрой осоке она приклонилась.  
В тело вливаются свежие соки.  
Весело иве, забавно осоке!  
Радостно всем: тихо-мирно вокруг.  
В сердце моём — торжествующий звук.

*1961*



\* \* \*

Над головою встали тучи-мамонты.  
О злые, беспросветные дожди!  
Всё смешано: и звёзды, и туманы.  
Я — вою, обезумевший почти,  
и получаю вести очень странные,  
что у тебя нет в мире никого  
и что озёра льдом затянуты, как раны...  
Затянуты? А мне здесь каково!

Поди ж ты, лёд... Должно быть, мёрзнут мамонты...  
Я прочитал... Вдруг вздрогнул пульс земли,  
и старый закачался маятник,  
кукушка выскочила — в такт взялись  
высчитывать часы, а, может, годы.  
И я почувствовал над головой  
убитую во мне любовь, свободу.  
... Собаки к небу поднимают вой!

*1961*

\* \* \*

От нежности сердца бывают слепы.  
Ах, мужики, любовь всегда слепа  
и зла! Да, да, тут возгласы нелепы,  
слова напрасны — и ещё, о небо,  
скучна она, простите, и... глупа.

У нежности раздвоенная суть:  
нередко возникает неизбежность,  
что в грубость превратиться может нежность —  
тогда не плачь, тогда не обессудь,  
не рвись из-за любви себя же вешать...

*1961*

\* \* \*

Ты — песня; может, вдохновенье;  
но не во мне, не для меня.  
Я слышу, сердце кровеня,  
иные звуки, дуновенья.  
Я на тебя их променял.

Я знаю, это безрассудно.  
Я знаю, это западня.  
Идёт ко дну день ото дня  
мой век напрасный, век мой нудный,  
но всё ж тебя я променял.

Ты — скованность, а не движенье.  
Себе на пагубу я взял  
весь мир, дорогу и вокзал  
и принял твёрдое решенье  
забыть тебя; и — с сердца снял...

*1961*

\* \* \*

Ты — чудо линий, гений красоты,  
игра теней и света, чистоты.  
Ты вся — как звук незаменимый  
волшебной скрипки Паганини.  
И — звук решительный... Тебя я,  
то находясь среди гурий, то теряя,  
любил то пламенно, то нежно,  
то — что скрывать? — с опаскою, небрежно,  
но всё ж любил... И в буче гиблых дней  
я вижу: ты всех жгучей и верней.  
Но страсть моя прошла, как и бывало  
не раз, и эта, к сожаленью, миновала.  
Я знаю: ты давно воспета  
и звуками, и цветом, и словами.  
Перепевать? Зачем? В каком аспекте?  
Чтоб сны мои вокруг тебя сновали?

*1961*

## ПЕСНЯ

Её тебе лишь спел и больше никому.  
Ты — первая, и я был первый.  
Опять пришёл к тебе я, в сердце — муть,  
сквозь бурю появился, не стерпел вот.

В глазах твоих укоры лишь одни.  
Чужой я для тебя. Страшны наветы.  
Уж не вернуть мне золотые дни,  
похоронил их, видимо, навечно.

Досель порядочности не терял,  
зачем во мне вину ты ищешь, ищешь?  
Ведь ввек я не ловчил, не предавал,  
и тут меня уж грешным не запишешь.

Не стыдно мне перед тобой стоять:  
чему, за что стыдиться, мать честная?!  
Не удалась, однако ж, песнь моя,  
не удалась, что делать, я не знаю.

*1961*

## ПУТЬ НА ЧЕРЕМШАН

Устоять перед любыми грозами!  
Молод я и — очень, в этом — шанс.  
Путь на Черемшан не устлан розами.  
Я иду в изгнание в Черемшан.

Из села родного и района  
выжили меня враги мои, ну что ж.  
Черемшан не Соловки иль штат Айова,  
но, что тут не говори, чужбина всё ж.

И не ждёт меня там дева-пери,  
или родственник, иль даже кум.  
Ах, к кому пойти, дойдя, кому поверить?  
В Черемшане есть такие двери,  
но смогу ль открыть я их, смогу ль?

Вот иду, и с каждым часом ближе  
кажется мне мой кремнистый путь.  
Кто ж со мной? И что же мною движет?  
Бог. И благодать Его питает грудь.

И у Бога храмы златоглавы.  
И у Бога надо мною — власть,  
чтобы жизнь моя к вершине славы  
и к вершине веры поднялась...

*1961*

## ЧЕРЕМШАНСКИЙ МОСТ

На совесть возведён... что ж, мост как мост...  
Над реками таких мостов мильоны —  
содружество железа с камнем... Прост  
ваш взгляд на мост новорождённый.

А я вот не умею, например,  
коль есть тут рядом мост-пенсионер,  
я не могу, пусть новому и рад,  
на старый мост бездушный бросить взгляд.

Я ж человек, во мне сомненья дух,  
мне старый друг дороже новых двух.  
И деревянный мост всем с детства был  
знакомым от настила до перил.

Старик надёжный много-много лет  
был другом человека на земле.  
И вместе с ним он сколько перенёс  
тяжелый вызов всевозможных гроз!

Он смерти знал, он слышал смех и плач.  
И по нему летело время вскачь.  
Да и теперь спешит оно куда?  
А мост устал от долгого труда.

Тебе все благодарны, старый мост,  
ты нам служил, пока твой сменщик рос.  
И пусть живёт он долгие века,  
уверенно сближая берега.

На новый мост я с девушкой взойду,  
чтоб оглядеть приречья красоту,  
взглянуть, как Черемшан Большой течёт  
то плавно, то свивая струи вод....

*1961*

\* \* \*

Нету стужи боле!  
Май пришёл с визитом.  
Жаворонка в поле  
солнце ловит ситом.

На ветлу и липу  
залетают пчёлы.  
Под петушьи крики  
дремлют утром сёла.

Пахнет синий вечер  
лугом и корою.  
Нас прикрыла верба  
долгою полою.

Сквозь мы видеть можем  
небо цветом в сливу.  
Я с тобой, с пригожей.  
Я такой счастливый!

То не ветер дышит  
тихо и туманно,  
то мне говоришь ты  
слово нежно, тайно...

*1961*



## ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ

\* \* \*

Ты не стони, лоза, не гнись  
под ветром времени под вечер,  
беги, река.

Не вечны мы, не вечна жизнь,  
сам бог всеправедный не вечен,  
творя века.

Какая музыка звучит  
под лунным небом в шуме ветра  
в ночной тиши?

Что шепчут струны, что — ключи,  
что прячут, что лелеют в недрах  
своей души?

И сохнет сердце и роса,  
не скажет время «до свиданья» —  
уходит прочь.

О вечной тайне голоса,  
о вечной тайне мироздания,  
поют всю ночь.

## СЕМЬ ЗВЁЗД ВОСТОКА

Мне б, Рудаки, твои напевы,  
твои и посох, и сума.  
Твоя б мне муза в виде девы,  
твоё бессмертье и судьба.  
Слепой — в горах ты Зарафшана  
плутал, а жизнь — всё злей и злей.  
И там, где смерть тебя ужалила,  
тебе воздвигнут мавзолей.

Носир Хисру, звезда Востока,  
твой прах всё ждёт Кабадиян.  
Ты спишь, хоть и не там истоки,  
в памирском кишлаке Юмган.  
Искал ты правду, справедливость  
и умер нищий, но святой.  
Все отшатнулись, но счастливо  
дошёл до нас ты, образ твой.

Кто баловень веков, кто — гений?  
На свете кто во всех краях  
гремит, разит строкой мгновенно?  
Мой старый друг Омар Хайям.  
Устой! Я славлю вас — салага.  
О, перешли б ко мне твои  
проникновенность, злость, отвага,  
весёлость, грусть и... рубай.

Руми, ты жил не очень долго,  
и поклонялся Сердцу ты,  
и был любвеобильный, добрый,  
любил народы и цветы.  
Ты возвеличил Человека,  
уподобляя Богу. Да!  
Неугасимая от века  
(живёшь в нас) песня и звезда...

О гордость и краса Шираза,  
о нежность сердца и Лейли,  
любовь тебе лишь не зараза,  
она — огонь и ось земли.  
О Саади! Поэт столетний,  
мудрец столетий и эпох,  
сад розовый, плодовый, летний,  
тебе он — сладость, горечь, бог...

Бунтарь Хафиз, ты — светлый лирик,  
певец природы и любви,  
чувств чистых, нежных, не сатирик,  
хоть и огонь — в твоей крови.  
И жизни музыка волшебна  
звучит, нас пересоздаёт.  
А коль почувствует, что — тщетно,  
уйдёт на много лет вперёд...

Джами! Всего ты завершитель,  
в ряду — последняя звезда.  
Дел удивительных вершитель.  
Царям ты всяким не чета.  
Не шёл к ним, сами приходили  
они к тебе, не ты — в дворец.  
Богатств и славы не любитель,  
учитель жизни и творец...

\* \* \*

Мне б вашу жизнь и ваши песни,  
семь звёзд Востока, колдуны.  
Высь неба в вас и в вас глубь бездны.  
Вы — Бога сны и Сатаны!

## УТЕШЕНЬЕ

Лети, моё воображенье!  
Ты уноси, ты уноси  
меня туда, где — Фирдуси,  
где — Саади, их озаренье,  
где — их поют, звучит фарси.

Вот предо мною — Туркестан.  
Устал скакун мой, бедолага.  
«А надо ль ехать в Фарсистан?» —  
спросил себя у Капет-Дага.

«Там правит бал теперь шайтан, —  
кивнула мне гора печально. —  
Не надо ехать в Фарсистан,  
там нет муз прежних, все сбежали...»

О, прочь тогда, воображенье!  
Меня, о боже упаси,  
ты никуда не уноси!  
Пусть будет сердцу утешеньем  
Хайям — на языке Руси...

## МОТИВ

Пусть я не дошёл до Хорасана,  
пусть в мечте остался Нишапур,  
мне не грустно: я совсем не хмур —  
хоть и не дошёл до Хорасана.

Там меня удача не ждала,  
если та удача есть любовь,  
если так назначено судьбой:  
у меня в любви плохи дела —  
там меня удача не ждала.

Там от чёрных неприветных глаз  
пламенный тюльпан и тот сгорает.  
Что же ждёт тогда неярких, нас?  
Уж куда нам, неприметным, раз  
даже пламенный тюльпан сгорает!

Хоть и не дошёл до Хорасана,  
хоть и не дарил я пери шёлк,  
испытал измену, через скорбь прошёл.  
Пусть бы и дошёл до Хорасана,  
счастья всё равно бы не нашёл...

## ТЮЛЬПАН

С письмецом прислали благосклонным  
мне тюльпан, что рос на склоне горном.  
Собирая их, светились, видно,  
передался свет через тюльпан — завидно!  
Будто свеж, не сух цветочек тот,  
пышно в сердце у меня цветёт.  
С юга путь сюда довольно долог,  
и поэтому втройне он дорог.  
Пери безымянная, сестра,  
кто — Наада ты иль Гульчехра?  
Снег слетает или хлопок с неба?  
Что любовь: страданье, боль иль нега?  
Что бы ни было, она — неволя,  
и не мне искать в Ширазе долю.  
Всё ж, родная, ты мне дорога:  
в сердце — твой тюльпан, в душе — снега.  
Хочешь коль, в завьюженный мой край  
ты сама хоть завтра прилетай...

## РАСКАЯНИЕ

Я знаю, милая, знаю:  
бывает безмерен гнев,  
душа, как рана сквозная,  
в незримом горит огне.

Я знаю, холоднее встречи  
сегодня у нас, чем вчера,  
бессвязны и прохладны речи,  
как эта улица и вечера.

Я знаю, меня не простишь ты,  
да я и сам не прошу.  
Нечестно получилось, нечисто,  
не так поступил я чуть.

Печально ты мне сказала,  
что ночь, как и тогда, полна  
предчувствий, как весной в Казани,  
лѣт так же свой свет луна.

Ах, боже, я ль то забуду?  
Прости, дорогая, меня.  
Нас здесь подменили будто:  
ты стала не ты, а я — не я...



## ВЕТЕР С ЮГА

Ветер с юга навевает грёзы...  
Помню встречи, помню и прощанья,  
всхлипы, тишину и обещанья.  
Ветер с юга навевает грёзы.

Сладостная золотая дрёма...  
Будто в ней — иное продолженье.  
Будто в ней — от мук отдохновенье.  
Сладостная золотая дрёма.

Может, ты давно меня забыла?  
Может, там с полей кабадианских  
южнокожий тоже парень адский?  
Может, ты давно меня забыла?

Край Хафиза, родина Хайяма...  
Лечит поле маков голубое  
и тюльпанов алых дух от боли.  
Край Хафиза, родина Хайяма.

Вера путь мой скорбный освещает.  
Я ж иду и горечь забываю.  
Ветер с юга, грёзы навевая,  
встречу, встречу с милой обещает...

## СВЕТЛЯЧОК

Помню с детства: «Светлячок,  
манит взоры твой полёт,  
твой далёкий огонёк  
мне покою не даёт...»

И мотивчик я к стихам  
напою вот — не взыщи:  
раз ребёнком услышав,  
взял его с собою в жизнь.

Из груди или с небес  
слышу песню — червь земной?  
Не слова и не напев —  
завладело что же мной?

Поразило, увлекло  
и ведёт до этих пор?  
Раз земной я, и поклон  
до земли я бью, не спорь.

Ввысь лечу душою я  
и смотрю на жизнь с небес.  
Но проходит жизнь моя,  
не проходит лишь напев.

Образ светлый, светлячок,  
не проходит твой полёт,  
твой далёкий огонёк  
всё покою не даёт...

## ГУЛИСТАН

Полузабытые огни,  
полузабытая удача,  
печаль и радость... Мне они  
о невозвратности судачат.

Я широко раскрыл глаза  
на розы в райском гулистане.  
Не станет время течь назад,  
но течь оно не перестанет.

То не роса блестит-горит  
на розах, а слеза простая.  
Не знаю, что мне предстоит,  
а что в итоге — точно знаю.

О люди, вы ль краса земли?  
Зачем кричите беспрестанно,  
зачем в раздоре постоянно,  
в пылу, в бреду? С ума сошли?!

Иль жить вам много сотен лет  
кощеем с круглым капитальцем?  
Бессмертных не было и нет,  
мы все мгновенны в вихре танца.

Так взглянем же на мир хоть раз,  
хоть на секунду, трезво, здраво.  
На это все имеем право  
и знаем, кто на что горазд.

## ЖИЗНЬ

Праздник милый погаснет, погаснет.  
Тот, кто знает, живёт нездешне  
и бывает уже безутешен,  
ибо нет человека прекрасней.

А прекрасен он был изначально —  
зов далекий и отблеск грядущий.  
И имел он бессмертную душу,  
и смеялся очами печально.

Плач полночный накатит и схлынет.  
Плач полночный — признание в любви,  
а любовью кто к существу болен,  
тот и стал ему истинным сыном.

Праздник милый не сразу погаснет.  
Праздник милый — такая отрада.  
Принимая и горе, и радость,  
может, мы безутешны напрасно...

## БОГИНЯ СВЕТА

Друзья ушли, Вас нет, увяли розы;  
не будет больше встреч, не будет роз —  
не страшно мне, пусть плачу, душат слёзы,  
но страшно мне — как вдруг не станет слёз.

Души моей отрада, призрак, фея,  
случится так: переломлюсь я вдруг,  
от слёз отвыкну, сердцем очерствую,  
забуду всё и вся, душой умру.

И что ж тогда? Зачем на свете жил я,  
зачем живу и буду дальше жить?  
И вообще — все люди, чем вы живы?  
Какого бога взяли для души?

Я взял, избрал себе Богиню Света,  
подумав, поразмыслив: свет — добро,  
добро — любовь, источник всех расцветов;  
но не расцвёл я, умер, вот он — гроб.

Вас, может, вовсе не было? Мой пламень,  
Богиня, создал Вас из ничего.  
Но ясно вижу я: я создан Вами —  
и потому живуч, такой живой!

Нет, не умру, создам себе другую  
по образцу, подобью Ваших черт.  
И Вас отдам не другу, а врагу я,  
к Вам сохранив всё тот же пиетет.

И пусть Вас нет, и пусть увяли розы,  
не надо больше встреч, не надо роз.  
Не страшно мне — уже не душат слёзы.  
Не страшно мне — без них я жил и рос.

## ЗВЁЗДНЫЕ ВЫСИ

Звёзды... Звёздные выси...  
Звёздной пылью покрыта луна.  
Полночь. Шепчутся листья.  
Ветер дремлет. Стоит тишина.

Между мной и звездой  
связь какая? Не надо пытаться,  
ночь тревожить не стоит:  
нету тайны — не вор я, не тать.

Звездочётом я тоже  
не был, вряд ли и буду когда.  
Диалектик не может,  
словно йомзя, по звёздам гадать.

Звёзды... Звёздные выси...  
Звёздной пылью покрыта луна.  
Полночь. Шепчутся листья.  
Ветер дремлет. Стоит тишина.

Было в мире нам худо  
всем сегодня, вчера и всегда —  
вышли из ниоткуда,  
и, пожалуй, уйдём в никуда...

## Я СПРОСИЛ...

У луны спросил я: о луна,  
что же вновь тускла ты и грустна?  
И луна ответила мне кратко:  
за тебя боюсь, вот и бледна.

У звезды спросил я: о звезда,  
ты о ком печалишься всегда?  
И звезда ответила мне тихо:  
о тебе, ведь я твоя, да, да...

Я спросил у розы: соловей  
почему не слышен средь ветвей?  
И ответила мне роза просто:  
улетел он с песнею своей.

Я спросил у соловья: о друг,  
что умолк неожиданно так и вдруг?  
И ответил соловей: коллега,  
что за песни без друзей, подруг?!

## ЗВЕЗДА ВЫСОКАЯ...

Звезда высокая моей печали!  
Звезда высокая мечты моей!  
Я шёл к тебе, ты грустно привечала.  
Я вопрошал, ты бойко отвечала,  
что не покинет рощу соловей.

Печаль была светла, мечта радушна,  
звезда высокая, души звезда,  
дышалось вольно мне и безнатурно,  
и потому казалось: в роще чудной  
дни скорби не наступят никогда.

Но дни пришли, звезда моей печали,  
дни скорби здесь, звезда мечты моей,  
душа моя смертельно, зло вскричала,  
и это есть скорбей моих начало —  
свою покинул рощу соловей.

Но верю я: настанет час, настанет,  
звезда высокая, надежд звезда,  
грусть поубавится, скорбей не станет,  
стрелять в мечту убийцы перестанут —  
взойдёшь над нами ты уж... навсегда.



## О МЕЧТА...

Слышу всхлипы и рыдания чьи-то,  
грустно и безрадостно живу.  
Не зови меня и не ищи ты,  
не тревожь во сне иль наяву.

О мечта, не я ль тобой был болен  
и не я ль сгорел в твоём огне?  
Не болеть и не гореть мне боле —  
ты ушла, тебя со мною нет...

Да и сам плутаю я давненько  
без мечты, без дружбы и любви.  
Разделил нас предрассудок некий,  
потушив последний жар в крови.

Жизнь без предрассудков не бывает,  
полон ими белый этот свет.  
Мы, мечту бесплодной называя,  
устанавливаем на неё запрет.

Временами за такую тупость  
выглядим не хуже мы осла.  
Да, я совершил когда-то глупость,  
что сейчас во гнев переросла.

Чует сердце, жизнь своё восполнит:  
на сегодня всё забыто пусть,  
перед смертью обо всём я вспомню —  
лебединой песней отзовусь...

## ЧТО ВПЕРЕДИ?

Что видать, жизнь моя, впереди?  
Ожидается что за погода?  
Стоит душу свою беречь  
за судьбу инородца-народа?  
Что видать, жизнь моя, впереди?

Ожидается что за погода?  
Что-то оттепель быстро прошла.  
Не спешит с переменой природа.  
Мне на сердце усталость пришла.  
Ожидается что за погода?

Стоит душу свою беречь  
иль не стоит за лучший исход?  
Иль нам всем грудью встать, победить?  
Чтоб приблизить счастливый восход,  
стоит душу свою беречь.

За судьбу инородца-народа  
инородец лишь будет болеть.  
И добьётся в ней тот поворота,  
кто готов жизнь отдать, умереть  
за судьбину родного народа.

Что видать, жизнь моя, впереди?  
Сколько лет ищем счастье без толку,  
потеряв все надежды в пути.  
И вот тут ликом встал я к Востоку...  
Что видать, жизнь моя, впереди?

## ПРЕДВЕЧЕРЬЕ

Что напоследок мне сказать  
тебе, о жизнь, нечаянная радость?  
Глаза — в слезах, в слезах — мои глаза,  
что ж напоследок мне сказать  
иль ничего уже и говорить не надо?

Шепчу «прощай» и плачу, плачу я,  
навек расстаюсь с тобой, навеки.  
Жить без тепла людского, жизнь моя, —  
не жизнь; как одинокий столб, стоять  
во мгле промозглой — смерть для человека.

Мне всё равно теперь, я уйду.  
Им кто я, что? Невелика потеря.  
Но всё-таки я жил, и я прошу:  
поставьте хоть мне на помин свечу,  
ведь вы того в душе давно хотели.

Прости, неправ я, может, всё ж прости  
меня ты, жизнь, нечаянная радость.  
Мне много роз кивали на пути,  
но ни одна не кинулась спасти.  
Рахмат за всё, теперь уж ничего не надо.

## ТЕНЬ...

Прошу тебя, пока я здесь,  
прости меня, меня не тронь.  
Душе моей уж не зажечь  
огонь любви, надежд огонь.

Прости меня, меня не тронь —  
не виноват я, видит Бог,  
свою сыграл неплохо роль,  
а лучше, хоть убей, не смог.

И как же мне теперь, о Бог,  
угасшего себя зажечь?  
Ушли надежды и любовь.  
И сам я... как бы... тень уже...

## ПРОЩАНИЕ

Прощайте, люди; нелюди, прощайте, —  
и друг, и враг, все вместе, враг и друг!  
Со счастьем проходили путь, без счастья, —  
все станем несчастливы вскоре вдруг.

Прощайте... Не увижу я вас больше.  
Тоска и грусть в душе, печаль и боль.  
Не долго помнят, нет, теперь — усопших,  
не пламенна к ним у живых любовь.

Прощайте... Радость глупая, прощай, —  
подруга милая, меня ты не любила;  
ты, доведя так ловко до могилы,  
сказала мне: лежи, дурак, гуд бай!

Прощайте, чувства и мечты пустые,  
прощай, земля в мерцанье голубом.  
Лишь ангел мой, свеча моя, тьму выев,  
заплачет надо мной... как над рабом.

\* \* \*

Сорвалась ещё одна звезда.  
Как ни странно, падают и звёзды,  
расстаются с небом навсегда.  
Грустно это, грустно и серьёзно.

Все уйдём — что делать, не грусти,  
не вздыхай и не горюй, помилуй.  
В мире всё непрочно, друг, прости;  
даже звёзды падают, мой милый...

*1962, январь—июнь*

\* \* \*

Не говорите мне, что я талант,  
не говорите вы, что я бездарен,  
когда в огне горю, когда — в ударе;  
таланты, бездари так не творят.

Не просто я горю, — пою, пою,  
ввысь поднимаюсь — над людьми, эпохой.  
Обозревая песней суть мою,  
и слышу я и вижу бога...

*1963*

\* \* \*

В грандиозных делах принимая участие,  
понял я: всё обман, всё фигня.  
Даже нету надежд у любви и у счастья,  
нету завтрашнего у них дня.

Я с надеждою жил, и безумная радость  
бушевала, теснилась в груди.  
Был от счастья слепой, был крылатый. И, надо ж,  
видел гордым себя впереди.

Думал я, что всемогущ, в лучах воссияю,  
полюблю навсегда и — одну.  
Оказалось, ошибся: разумность теряя,  
стал тонуть и пошёл я ко дну.

Где ты, где, о мечта, миг счастливый? Мгновенье,  
задержись-ка, уходишь куда?  
Но напрасна, пуста и мольба, и моление,  
и канувшие в вечность года.

О судьба моя, кроется наше паденье  
в слепоте моих дум поутру  
и в коварстве и хитрости сладостной девы...  
Грех... Не к худу бы сказ, а к добру...

*1963*



\* \* \*

Здоровья нет, и будущего нет...  
Ведь наглухо закрыта мне дорога  
в литературу — в страсть мою и свет.  
Ведь я изгой, отвергнутый с порога.

Обычно, как всегда. Обыкновенно.  
Дракон не спит, он начеку, всё верно.  
Неполных двадцать три мне. И, как Сеспель,  
с собой покончу я, наверно...

*1963*

\* \* \*

Я думал умереть, не умер,  
решил, по-видимому, жить.  
Сказал себе: «Ты что, мужик,  
давиться из-за дев — неумно...»

Ни дня вернуть не суждено нам  
из тех, что сгнули вдали.  
Пади в стенаниях и столах;  
рыдая, не вставай с земли.

С любовью ты простился стойко.  
Поставь на траур хор свечей.  
Один останься, сам с собой, ты —  
ничей ведь всё равно, ничей.

Но всё-таки живой. Не умер.  
Пусть дней вернуть не суждено,  
любовь вернёшь, так как ты умный.  
Вернёшь и счастье... Всё одно.

*1963*

## ЮНОСТЬ

«По этой суете вертлявой  
грустить ещё ты будешь век...»  
Да, буду, друг мой! Время — дьявол,  
а я... А я — лишь человек.

Да, юность — суета. Не спорю.  
Она и чудо в день такой:  
в волшебный сад войдя от горя,  
мы ходим радостны с тобой.

Мы ходим тихи и довольны.  
И рады жизни, как Адам, —  
не виданным ещё дотолы  
деревьям, птицам и цветам.

В душе у нас огонь и пламя  
и откровений дивный круг.  
В них страсти пыл и жажду славы  
мы обнаруживаем вдруг.

О, всем хвала и честь влюблённым!  
Пусть любит друг и враг любой.  
Будь юностей у нас миллионы,  
я б их растратил на любовь!

Я б их на вихри упоенья  
употребил, стихи твоя.  
Войдут в легенду, без сомненья,  
моя, друг, юность и твоя...

1963

## НА БЕРЕГУ ВОЛГИ

Сорок восемь часов  
сокрушались волны,  
тяжко вздыхали,  
кого-то жалея.  
Может, и больше...  
Но, не в силах слушать, —  
я пошёл прочь.

Сорок восемь часов  
липы качались,  
листвой не одетые.  
Не распустив лепестков,  
стебли ландышей  
клонились к земле...  
Но, не в силах на это смотреть, —  
я пошёл прочь.

Сорок восемь часов  
жаркий пламень любви  
делила с другим  
мною любимая женщина.  
Может, и больше...  
Я это не знаю.  
Я пошёл прочь.

*1963*

## ОСЫПАЮТСЯ ЛИСТЬЯ

Осыпаются листья, осыпаются тихо,  
так же тихо, спокойно кружится земля.  
В небе тихом луна отлетающей птицей  
тихо машет крылом, сердце, дух веселя.

Мы мечтаем дружить и любить бесконечно.  
Мы мечтаем прожить жизнь без малого тысячу лет.  
Мы мечтаем прожить далеко не беспечно  
на прекрасной на нашей цветущей земле.

Шум и шорох в лесу. Глух таинственный воздух.  
В нём незримо живёт боль осенних тревог.  
Осыпаются листья, осыпаются звёзды,  
всё твердя о непрочности в мире всего.

Сколько раз мы живём, столько раз умираем —  
нам ли стоит грустить об уделе таком.  
Осыпаются листья, осыпаются и оседают,  
устилая дорожки, тропинки шуршащим ковром.

*1963*

## ПОЛЁТ

Берёзовые тени.  
Небо. Самолёт.  
Белую куделью  
облачко плывёт.

И пулей прямо к солнцу,  
весь из серебра,  
словно веретёнце  
из кудели — трах!

Путь добрый, реактивный!  
Белую почти  
над полями дивно  
нитку ты верти.

Ведь я имею тоже  
к небу интерес:  
кропаю, итожу —  
времени в обрез.

Всю жизнь душой летаю  
к солнцу, как и ты,  
воском таю, таю;  
тают сны, мечты.

*1963*

## ВОЛНЕНЬЕ

От доброго взгляда,  
от дружеской руки  
мне, как и всем, отрадно,  
невзгодам вопреки.

Как ветра дуновенье,  
легко во мне волнение  
от хоровода трав,  
от гвалта птиц с утра,

от смеха в тишине,  
от света в вышине.  
В нём голос жизни слышен.  
Я бодр, не безразличен.

И яркий свет лучисто  
в душе звенит-горит.  
Всё сокровенно, чисто.  
И я правдив и чист.

И кровное желанье  
к вам высветляет путь  
любить вас, заставляет  
помочь хоть чем-нибудь.

*1963*

\* \* \*

Схожу с ума, жизнь — сказка вечная.  
Душа в ней — яблоня в цвету.  
Схожу с ума — туманность вещая  
в ночах весенних застит ум.

Сойду ль с ума — покажет время.  
С тропы той точно не сойду,  
где мчимся с новью стремя в стремя,  
где в будущем — себя найду...

*1963*



## ПРИЗНАНЬЕ

Весною хорошо иль плохо?  
Ой, хорошо! Я ожил, чёрт!  
Весной, как у поэта Блока,  
сквозь тело музыка течёт.

С девчонкой пошептался — выйдет  
под вечер к роще или нет?  
Наверно, вспомнил я впервые,  
что юн я, что и я поэт.

Душа горит и всё приемлет,  
что живо, звонко и цветёт.  
И в ней несметно сила дремлет,  
сквозь — плавно музыка течёт.

Течёт она, её лелея,  
бодрит и дух, мол, не тужи.  
И мнится мне, я одолею  
и этот путь, и эту жизнь.

Плывя в ночи в лучах, дарованных  
луной весны, как новый дар —  
я вижу берег очарованный.  
И... очарованную даль.

*1964*

## ДЖИГИТ

Закрыв глаза, зажмурился — нет улицы,  
открыл — она опять передо мной.  
Ничто так не красиво под луной,  
как речка при луне туманом курится,  
как девушка вздыхает над водой,  
как на востоке солнечные кони  
к зениту мчатся, алым днём звеня;  
как мир смеётся, тишину храня,  
а я смеюсь у мира на ладони,  
как будто мир в ладони у меня.

*1964*

## ПРИЗВАНЬЕ

*Призвание — это одержимость.*

П. Хузангай

Призванием одержим, как бесом.  
И бес всю жизнь во мне сидит.  
К чему я призван? Ах, балбесы,  
о том не вам, не вам судить!

Хотя б к тому... ну к виршеплётству.  
Я — подражатель, графоман.  
Живая мысль во мне не бьётся.  
И чувство — суррогат, обман.

Нет чувства ритма, но мне лестно  
болтать о музыке души...  
Я болен звёздной болезнью,  
хочу в почёте, в славе жить.

Не сын гармонии, а чёрта,  
но всё равно я своего  
добьюсь: и славы, и почёта.  
Призвание — в том. Я — боевой.

К властям любим ключи добуду,  
как ни сидели б взаперти.  
Царям лизать я жопу буду,  
сметая недругов с пути.

Мне власти (о! властям — осанна!),  
пока враги гниют в тюрьме,  
поставят памятник в Рязани,  
то бишь — в Казани, в Сиктерме...

*1964, май*

# ЦЕЛИННЫЙ СВЕТ

## УСТАВ

Заучивать устав,  
вы правы, я не стал.  
Запомнил я, друзья,  
единственно — «нельзя»,  
что «можно» — не запомнил,  
но всё прекрасно понял.

## МУЗЫКА СТРОЙКИ

Рубанок свистит,  
пила звенит.  
Ребята молчат,  
девчата кричат.

Стучат молотки,  
мастерки, топорки.  
Девчата молчат,  
ребята кричат.

А вот — конец дня.  
Встала луна.  
Ребята поют.  
Девчата поют.

Вот отпылал закат.  
Мир тишиной объят.  
Девчата молчат.  
Ребята молчат.  
Устали. Спят...

## КОМАРЫ

Самое трудное испытание —  
комары. Не раствора таскание,  
не жара, не дожди проливные,  
не ужасные ветры степные.

Облетая огромные площади,  
в сумерках нас везде находили:  
комары здесь большие, как лошади,  
и кусачие, как крокодилы.

## КОМАР И ВОЛК

У комара философия комариная,  
а у волка — звериная,  
но тот и этот пьют кровь,  
кровь — их любовь.  
В чём их разница? А в том,  
что волк бьёт клыком,  
комар — хоботком.  
Но надо опасаться и комариков,  
и волков-судариков.

## ПОЁМ...

Стройотряд без гимна не бывает.  
И бригада гимн поёт любая.  
Днём поём, поём и ночью, засыпая.  
Целина родная, вот ведь ты какая!

Ночью вдруг проснёмся, баню вспоминая.  
Комара прихлопнем, на заре вставая.  
Днём раствор таскаем, от жары сгорая.  
Целина родная, вот ведь ты какая!

Дождь такой здесь, боже. Слякоть здесь такая!  
Чуть живы бредём мы, тихо наступая,  
гимн свой еле слышно, грустно напевая.  
Целина родная, вот ведь ты какая.

Ехали сюда мы тоже напевая,  
головами местным жителям кивая,  
удивляясь шири без конца, без края.  
Целина родная, вот ведь ты какая!



## ИЗ ФОЛЬКЛОРА

Как на стройку меня мать  
проводжала,  
как тут вся моя родня  
набежала:  
«А куда же ты, сынок,  
а постой-ка,  
на кой чёрт тебе нужна  
эта стройка?!  
На истфаке чудаки,  
чай, найдутся,  
комсомольцы без тебя  
обойдутся.  
Ой, натерпишься, сынок,  
много горя,  
лучше б ехал ты со мной  
к Чёрну морю,  
загорал бы на песке  
и купался...»  
Тут я матери в ответ  
заругался:  
«Эх, мамаша, если б все  
так считали,  
целину бы до сих пор  
не подняли».

## КВАРТИРЬЕРЫ

Не флибустьеры мы,  
а квартирьеры,  
но все уверены:  
мы — флибустьеры.

Дельнейшие умы —  
без нас всё сбудется? —  
готовим почву мы,  
вы сеять будете.

Глаголом «нравитесь»  
мы не привечены,  
начальство нами здесь  
очеловечено.

Мы — не хорошие.  
Мы — квартирьеры.  
Без нас возможна ли  
бойцов карьера?

Без нас возможны ли  
вы, «Бригантины»?  
Нет, мы — хорошие,  
но — меркантильны.

## КОРОЛЕВА

Королева растворо-  
мешалки —  
королева из королев.  
Без неё все  
выглядели б  
жалко,  
будь мы в кладке тигр  
или лев...

## КИРПИЧ И РАСТВОР

Кирпич привезли, нет раствора.  
Так нас доведут до раздора.  
Ведь мы не посмотрим, что всё это глина,  
ругаться начнём усложнённо и длинно.  
Не будем вникать, что когда-то Хайям  
сказал нам: «Мы — глина», и не только нам.  
Допустим, до этого далеко,  
но думать об этом нелегко...

Ну вот привезли и раствору!  
Я всё сам с собой в разговоре.

## ПОВАРА

У нас — коммуна, свои повара.  
Прости, замполит, и помилуй,  
любовь к труду и ко всему с утра  
через желудок проходит, мой милый.  
Утилитарно. И слушать, мол, тошно.  
Что делать, браток, на всё своя статья:  
никто так не любит, как повар, картошку  
и повара Соню — как я.

## ПОВАРУ СОНЕ

Бойко мы сдавали сессию.  
В поезд мы садились весело  
и помчались за Урал —  
не лежать, не загорать.

Мчались мы навстречу солнышку,  
дорогая наша Сонюшка,  
школой выдержки нам стал  
на всю жизнь Казахстан.

Будни здесь такие трудные,  
ночи здесь такие лунные.  
Уж рассвет — мы всё поём,  
позабыв, что есть подъём.

Кончатся дороги длинные.  
Станем мы людьми солидными.  
Позабудем, стыд храня,  
я тебя, а ты меня...

## В СТЕПИ

Лесок тут и озеро  
и диких уток тьма.  
В степи лазоревой —  
цветов кутерьма.

Зелёно и сине,  
багрово, бело...  
О, степь, диво дивное,  
и как тут светло!

В порыве смятённом  
бреду одиночек.  
Я в этой метели —  
как в море челнок.

В простор я ныряю,  
меня здесь нет,  
в цветах затеряюсь,  
простынет и след...

## ХЛЕБ

Проходит всё, в том нет у нас сомненья.  
Мы все уйдём. Пройдёт и ваша жизнь.  
Но не проходит хлеб. И он всему решенье.  
Всему залог и бог. Мы все на нём сошлись.

Без хлеба нет любви, нет проявлений духа,  
нет духа даже, ибо плоти нет.  
Нет бывших, настоящих, нет грядущих.  
И мир для нас зловещий мрак — не свет.

Не существуем мы, а коли существуем,  
без хлеба быть свободным не мечтай.  
Такие в мире ныне сабантуи,  
что вмиг проглотят, только волю дай.

Восславим хлеб, восславим человека,  
рукою трепетной чуть подперев висок.  
О Родина! Ты хлебной будь от века!  
Лишь хлеба именем твой образ так высок!



## ПЛАНЕТА ЦЕЛИНА

Солнце обжигает, ливни хлещут  
и встаёт огромная луна;  
спелые, как сливы, звёзды блещут  
на планете нашей Целина.

Ночи — миг, а дни — предлинные,  
и порой усталость валит с ног.  
Нелегко, непросто у лиц линии  
вырастают вдоль степных дорог.

Стороной пройти, конечно, проще,  
жить в раю ли плохо, чем — в аду.  
На закат завыл вот пёс хороший,  
накликающая новую беду.

Утром ливень с ураганом будет.  
Ой, не вой же, как я тут засну?  
Но и всё же вряд ли кто забудет,  
вряд ли кто разлюбит Целину.

Солнце обжигает, ливни хлещут,  
но живёт суровая страна.  
Неужель,  
досель  
за океаном брешут,  
что ты — миф, родная Целина?!

## ПЕСЕНКА БРОДЯЧЕЙ СОБАКИ

Не комар я, не волк, а собака.  
Да, бродячей была, ну и что ж?  
Много били, травили. Однако  
вот теперь-то меня не трожь.

Я теперь в своём доме, не где-то,  
жизнь пошла наконец-то на лад,  
охраняю жилище студентов,  
тех, кто строит в степи зерносклад.

В той степи побывала я тоже  
меж великих двух синих озёр.  
Озорные ребята, но всё же  
ни один из них не живодёр.

В нос щелкнув, мне и мясо давали,  
мне и сахар, и хлеб — всё идёт.  
А хозяин мой прежний, бывало,  
даже воду жалел — идиот.

Я их жду, им служу не за брюхо —  
уважаю. Народ этот — наш.  
Различаю где ухом, где нюхом:  
есть казах среди них, есть чуваш.

А чуваш — всё стихами, стихами.  
Я ему — всё хвостом, всё хвостом.  
Стих о чём — не пойму. Не слышали?  
О любви, видно, кошки с котом...

## ПЕСЕНКА СТРОЯЩИХ БАНЮ

Баню строим, разве это плохо?  
Развалилась вовсе баня-кроха,  
а теперь вот будет баня-великан.  
Бригадир наш — славный Амирхан.

Перекрытия кладём весь день мы.  
Всё на совесть, дорогой, не из-за денег.  
Ай, не хмурься, не мулла, не хан,  
разреши нам стопку, Амирхан!

Ведь и ты устал, и мы устали.  
Выпьём! Так за чем же дело стало,  
что стоять здесь, словно истукан?  
«Пейте чай!» — отрезал Амирхан.

## ГИМН СТРОЙОТРЯДА

Мы романтики и открыватели.  
Мы друзей не бросаем в беде.  
Мы нелегкого счастья искатели,  
наше счастье в борьбе и труде.

Кто сулил здесь золотые нам горы?  
Что сюда нас, бойцов, привело?  
Мы пришли и построили город,  
мы пришли — и возникло село.

Крепок шаг наш в пространстве и времени,  
крепок будет во все времена.  
Мы студенты особого племени,  
мы с планеты земной — Целина.

Не «прощай» говорим — «до свидания»,  
через год вновь вернёмся сюда.  
Целина, край трудов, испытаний,  
мы открыли тебя навсегда.

## ЦЕЛИННЫЙ СВЕТ

*Звезда полей горит, не угасая...*

Николай Рубцов

Целинный свет горит, не угасая,  
гореть он будет вечно, как душа.  
Не раз ещё, героям подражая,  
и нам, невольно, будут подражать.

Мне повезло, путь жизненный удался,  
познал я круговерть великих сил.  
Целинный свет в душе моей остался,  
всю жизнь мою навечно осветил.

*1964, июль—август*

## САМОМУ СЕБЕ

Изначально ты перед концом.  
Должен ты поэтому понять:  
в мире никому не жить ином —  
в этом бы свой век не обкорнать.

Твой продлится будущим лишь путь.  
Потому о чести не забудь.  
Будь отважным и достойным будь.  
Было б что потомкам помянуть.

Будь чужим не мил, друзей любя —  
только так и никаких «почти».  
Человека доброго почти,  
коль считаешь таковым себя.

Мать люби свою и всех других,  
и детей своих и всех других...  
Взялся за работу — прочь ленца,  
и как вол работай — до конца.

Были б дни лишь делом сочтены —  
как ни поздно, будет и хвала.  
Перед смертью люди все равны,  
не равны по смерти лишь дела.

*1965*

\* \* \*

*Вере*

Я искренне сказал, не ради похвальбы,  
о том, что я поэт, и что — не скоро  
замеченным и признанным мне быть,  
а быть побитым — как пить дать, не скрою.

Я знаю, этим жизнь не облегчить,  
не оправдаться истиной расхожей.  
Всем сердцем чую, и хребтом и кожей,  
что не любить мне больше, что не жить...

1965

\* \* \*

Поэт — он больше жертва, чем поэт.  
А кто не жертва — стихотворец просто,  
но он на роль поэта нагло просится:  
и лезет, и штурмует — спасу нет!

У нас лишь два поэта было, есть.  
И это нам приходится учесть.  
А остальные — слабы, непоэты;  
не совесть — остальные, и не честь.

Тем более — не боль и не огонь,  
пылающий, как Сеспель; не поющий  
родник сильбийский — Прта, поэт наш лучший.  
И оба — жертвенны. Таков закон.

Поэт ли образ века своего?  
Ну нет же, нет! И только и всего?  
Не образ, нет, поэт — загадка вечная.  
Он тот, кто к жизни, к богу нас зовёт.

*1965*



## ВЕРЕ СИМОНОВОЙ

О золотоволосая, о алтынчеч,  
наивная и мудрая, когда запальчив,  
о целомудрии я начинаю речь.  
Ты, мне ответствуя, запальчива тем паче.

Бурлит в тебе горячность не напрасно —  
стан юный твой и плечи как вино.  
Тебе всего семнадцать, ты — прекрасна.  
Ты свет себе найдёшь, а мне — не суждено.

Не похваюсь я будущим своим итогом —  
не сделать много мне, немного петь.  
И уготован путь поэту, жребий, богом —  
брести во тьме, во тьме и умереть.

Огонь в душе сильней всё и сильней,  
но не сгореть весенними ночами.  
Прости, не плачь, подруга славных дней  
любви и озарений, радостей, печали.

О, золото волос, чувств золотая россыпь!  
С тобою, Вера, счастлив был я, знай.  
Не плачь, любимая, прости, прости ты просто,  
прости великодушно и — прощай...

*1965*

## КРЁСТНАЯ МАТЬ

Мы ели лебеду и жёлуди в то лето  
послевоенное, и мать, чтоб больше сжать,  
а может, горстку ржи припрятать где-то,  
встаёт — темно, приходит — ночь опять.

Поймают — так тюрьма. И в мире трудном  
от смерти ты нас, крёстная, спасла.  
Голодная сама, дала овцу нам,  
больной сестрёнке мёду принесла.

Была ты богомольною, седою,  
спасала даже недругов подчас.  
Ну а потом сама пошла с сумою,  
и кто тебя во имя бога спас?

Никто! Ничем! А внучка со снохою —  
те выгнали на улицу тебя.  
Ты плакала над старостью такою,  
молила ради бога, всё терпя.

Что ж ты ушла от нашего порога?  
Жила бы потихоньку как-нибудь.  
Решила, видно, что самих нас много,  
и в сторону чужую лёг твой путь.

И там, где даже день казался ночью,  
ты свой покой на кладбище нашла.  
Я мал был. И не мог тебе помочь я.  
Потом ушёл в скитанья из села.

Молитв наивных позабылось много.  
Мать крёстная, твои — живут года.  
Не верую я в бога, ни в какого,  
но в твоего — я верую всегда!

1965

## УТРО

Трепетен рассвет. Июнь, как откровенье,  
в вышитой рубашке, весь в цветах,  
празднично стоит; на удивленье  
молодеет. Слышится писк птах.  
Солнышко восходит. Словно звон  
струн волшебных, утром тишина  
тоньше, вдохновеннее; со всех сторон  
к слуху моему приближена.

У дороги блещут белые ромашки,  
светят в вышину от рос густых,  
ловят тишину, она им машет  
голубую шалью. На кусты,  
на деревья бросились везде  
солнечные зайчики; прыг-прыг!  
заиграли — на лугу, в воде  
сколько радости проснулось вдруг!

*1966*

## ЛЕТОМ

Солнышко дремлет за редкими тучами.  
Тихо слоится туман над откосами.  
Близится осень. По этому случаю  
вечными мучаю душу вопросами.  
Пусть над ребёнком склоняется женщина,  
вырастит сына мамаша счастливая,  
пусть через сердце пройдёт не трещиной,  
а несказанным лучом дитя милое.  
Пусть над цветами лугов и над травами,  
пусть над дорогой непройденной, пройденной,  
пусть над простором полей, над дубравами,  
пусть над Чувашией, малою родиной,  
пусть над большой необъятной Россией,  
пусть над землёю, такой беззащитной,  
вечно звенит тишина песней синей.  
Вот я о чём загрустил, друг мой ситный.  
Близится осень. Скорблю. Глупо делаю.  
Но — где мой сын? Нет его. Здесь он будто.  
Жёлудя нет — дуб не дуб, просто дерево.  
Я без детей — кто я, кем я пребуду?

*1966*

## ГРОЗА В ДЕТСТВЕ

Бушует и злится в округе гроза.  
От вспышек ужасных прикрыл я глаза  
ладонью. Пусть тучи во тьму низвергают  
свой синий огонь, и грозя, и пугая;  
пусть мрачны, свинцовы, свет белый померк;  
пусть молний беснуется в них пересверк,  
клокочут овраги от бурной воды, —  
я верю, надеюсь, не жду я беды;

мне мать говорила недавно притом,  
что бьёт по шайтану взбесившийся гром;  
ведь я не шайтан, я малыш; вот сарай,  
вот баня заброшенная — покарай  
(там прячутся черти), ночная гроза;  
свирепствуй ты, слеп я, закрыл я глаза;  
свирепствуй ты, глух я, заткнул оба уха...  
К чему это вспомнил? Ведь осень. Ведь глухо.

*1966*

## ВЬЮГА В АПРЕЛЕ

Закрутилась как лёгкая пена,  
ошалело свистела и пела  
настоящая вьюга в апреле —  
влажный снег синеватый, но белый.

«А надолго ль, всерьёз? Как же можно?» —  
мы спросили у солнца тревожно,  
и оно в полдень вдруг рассмеялось  
над уставшей, над ней, разудало.

Снег сошёл. В поле сыро, туманно.  
Всё черно, тяжело, слишком рано,  
а в лесу распрямляют деревья  
ветки-пальцы, в ненастье не веря.

Будут тёплые ливни — молчите,  
будет солнышко яркое — ждите,  
скоро вздох тишины вас разбудит —  
почки ваши постреливать будут.

А ведь я тоже жду и молчу вот,  
будет радость, удача, я чую,  
лист зелёный — надежда лесная,  
а моя — песня, стих, точно знаю.

*1966*

## ЛИСТИК

Красно-жёлтый клён шуршит  
тихо под окошком,  
лёгкий листик вниз летит —  
с детскую ладошку.

Быстро наклонясь, беру  
и держу в ладонях —  
теплоту отцовских рук  
кто из нас не помнит.

Чуть согрею и — пошёл.  
Сколько тут «ладошек»!  
Будь теплей в другом, в большом,  
баловать — негоже.

Впрочем, мне откуда знать,  
не отец я вовсе.  
Славно как: отец и мать.  
Дети свет в жизнь вносят.

Ах, как хочется отцом  
стать оравы буйной,  
жизнь протопать молодцом,  
ношу взяв любую.

Стойте, зяблики, дрозды,  
листья, не летайте,  
друг ваш — в мареве мечты,  
насладиться дайте.

1966

## А ТЕПЕРЬ...

Я был — Том Сойер,  
ты — Гекльберри Финн.  
Нынче мы с ними в ссоре.  
Вечер. Сижу один.

Стукнув в оконную раму,  
ты не подашь мне знак.  
Не тянет нас в дальние страны,  
не манит старинный ветряк.

Он в свете луны был хмурим,  
взбираешься — всё дрожит.  
Брось камешек с верхотуры —  
он до-о-олго во тьму летит.

Для нас, если только надо,  
кого-то надуть — пустяк,  
и бровью не дрогнув, складно...  
Хоть стыдно, а было так.

Наврали ловко особенно,  
когда разбили графин...  
Я был — Том Сойер,  
ты — Гекльберри Финн!

1966



## ЛЕСНАЯ ТРОПИНКА

Деревья сомкнулись угрюмо.  
О тропка моя, на земле  
лесная глубокая дума  
печалит меня с малых лет.

Извечен — о жизни и смерти —  
тот помысел не напоказ.  
Пропитан весь болью, и сердце  
насквозь он пронзает подчас.

В тот миг замираю я в страхе,  
не чую себя, не живу,  
как мысль, существую абстрактно,  
стою как во сне — наяву.

Но в нём — и целебное свойство:  
палима болючим огнём,  
живительного беспокойства  
душа не лишится при нём.

*1966*

## СКВОЗЬ ТУМАН

Осень. Не лето уже. Сквозь туман  
я пробираюсь домой; всё равно  
по какой мне тропинке к селу, к домам,  
подходить, я плутаю давно.

Мысли нелепее одна другой  
лезут впотьмах в гробовой тишине.  
Мрачен я, мрачен и груб, милый мой,  
за pessimиста сойду уж вполне.

«Вышла такая по жизни ходьба,  
был я как будто в тумане сплошном.  
Состоялась ли, нет ли, моя судьба,  
состоится ль, не знаю о том.

Хоть гляди, не гляди во все глаза,  
впереди посвист злой зимних вьюг.  
Жил ли я, нет ли, жизнь отошла назад,  
будто вовсе и не жил, мой друг».

Что за чушь? Ах, туман... Что ж — туман?  
Свет небесный потух, что ли? Стой!  
Жил ли я? Жил! Живу! Караван  
мой идёт, не устал ещё, он — под горой.

*1966*

## У ПРУДА

Где тихо отражалась хмурой ночью  
далёкая печальная звезда,  
ломаю от досады лёд непрочный  
замёрзшего осеннего пруда.

Грусть не уходит, радость не приходит,  
я и не жду, в душе моей печаль,  
проходит время лучшее, проходит,  
а времени... ох как его мне жаль.

...Вдруг кто-то шумно плюхается в воду,  
от плюханья расходятся круги,  
и вижу я: торжественно и гордо  
плывут гусыни, может, — гусаки.

Но что мне делать с нудной этой грустью,  
ведь нет причин серьёзных унывать?  
Как весело в пруду гогочут гуси,  
им радостно, на всё им наплевать!

Хорош я гусь! За дивные мгновенья,  
что прожиты, корю я жизнь, дурак;  
ведь каждое мгновенье — откровенье,  
хоть пусть и прожито чуть-чуть не так...

*1966*

## КАДРИИ

*Памяти Сергея Есенина*

Пройдут, пройдут осенние дожди.  
И легче, и свободнее задышим,  
и сердце успокоится в груди.  
Улыбчивая, нежная, ты слышишь?

Не дождь, а снег — вот радость долгожданная  
для всех мальчишек нашего двора.  
На тротуары, улицу, на здания  
неслышно будет падать он с утра.

С утра же друг — соседский карапуз, —  
что спозаранок выскочит за двери,  
вздохнёт, взглянув с каким-то недоверьем,  
и свежий снег попробует на вкус.

Под вечер щёлкнет зло мороз ядрёный  
по стёклам окон, вспомнится село,  
как там в печи поленья тихо, ровно  
шипят, чтоб стало в комнатах тепло;

как запах освежающего дыма  
нам кружит головы и — хлебный дух;  
как речка, поле будоражат дивно  
всю нашу суть... и — баня, и — петух!

Не скрою: нету к городу доверья,  
чтоб полностью открыться, всхлипнуть чтоб.  
Мы из деревни, милая, деревья  
из леса пересаженные в топь...

*1966, октябрь*

## ПОДРАЖАНИЕ ПЕСНЕ

Чернеет дорога далёкого детства,  
крово-багров цвет зари.  
Я очень встревожен, но только об этом  
с тобой не хочу говорить.

Я хмурый, я бледный; мы станем стихами,  
придётся гореть нам и тлеть.  
И новые песни придут вслед за нами  
пожить, а потом умереть.

Светлеет дорога далёкого детства,  
светло-золотист цвет зари.  
Я очень доволен, но только об этом  
не буду пока говорить.

Я светлый, я ровный; мы будем цветами,  
цвести, распрямляться, хиреть.  
И новые зори предстанут пред нами —  
пожить, а потом умереть.

*1967*

## ALMA MATER

Угасает лето, наступает осень.  
Лебедям моим — на юг лететь.  
Я куда собрался и куда спешу я,  
alma mater, университет.

Не к тебе собрался, не к тебе спешу я.  
Вышли сроки лебедям моим.  
Как угасло лето, наступила осень.  
Перед новым временем стоим.

Отшумела юность, знания обретая,  
отшумели дни весны, любви.  
Ах, как скоро, рано наступило время,  
ах, как рано, лебеди мои?

Знаю я, и осень быстро угасает,  
не споют зимою соловьи.  
Наступило время, наступило время,  
что ж, прощайте, лебеди мои.

Вот и я поднялся, я расправил крылья,  
как и вам, мне далеко лететь.  
В новый путь собрался, к зрелости спешу я,  
alma mater, университет...

*1967*

## СЛОВА МОИ...

Слова мои, судьба моя, бреду я  
в постылом чайнье, тоскуя, без чудес.  
В лицо, дыша ненастьем, ветер дует.  
Не унести нам в осияние небес.

Слова мои, судьба моя, не буду  
о вашей я судьбе гадать и горевать,  
продам задёшево, предам вас, как Иуда,  
чтоб уцелеть, чтоб счастье продлевать.

Слова мои — судьба моя. Напрасно  
завёл о счастья я ловко речь.  
Такое счастье было бы ужасно,  
уж лучше расстрелять меня.  
На месте сжечь!

*1967*

## МОЯ ВИНА

Приволен воздух, свеж и тонок.  
Им надышаться, вдоволь пить  
его свет ясный, как ребёнок,  
душою чист я должен быть.

И чист я, брось меня мытарить...  
Пройдусь свободно по нему.  
Не стыдно в творческом ударе  
признаться в этом никому.

И по земле ходить пока что  
я вправе, чист, не воровал,  
не притеснял, не лгал отважно,  
тем более — не убивал.

Единственно, что ключ гармоний  
искал всю жизнь я, в том вина  
моя большая, до агоний  
прошу за то душить меня!

...Всегда прекрасно мирозданье.  
Но дисгармоний обуздать  
в нём невозможно. Как созданье,  
поэт трагичен навсегда.

*1967*



\* \* \*

Обоим нам судьба несла  
и гибель, и спасенье полное.  
Не то что я не помню зла,  
но и добра почти не помню.

Тебя, коллега, не боюсь,  
скажу без преувеличений,  
давно не плачу, а смеюсь  
над тем, что далеко не гений.

Вокруг чела туман белёс,  
и ты не золотистый, рыжий,  
и ты, как я, не сын небес —  
«блистаем» мы намного ниже.

Нам ближе запахи земли.  
Не лавры нам ночами снились.  
Нам снился сад, где листья жгли,  
где на ветру с судьбой мы бились.

Сколь скоро чувство гибель ждёт,  
легко предвидеть, а сколь скоро  
нам всем хана, лишь знает тот,  
кто разум называет вздором.

*1967*

## ЛИСТЬЯ НА ВЕТРУ

Луч засветится, мглу раздвигая,  
будет гаснуть, о смерти твердя.  
Роковая пора, роковая —  
обречённые листья летят.

Листья эти безжалостно душит  
злобный ветер, ярясь на закат.  
Вопли, стоны не радуют душу.  
Ночь сгустилась. Сильней листопад.

Это сам сатана разгулялся —  
рвёт и мечет, и кружит всю ночь.  
Лист летит, чтоб без смысла валяться, —  
невозможность нельзя превозмочь.

Сняв с себя непосильное бремя,  
перестав верить мутной воде,  
вы, провидцы скандального времени,  
что сумели во мгле разглядеть?

Или заперты звёздные выси  
даже для самых робких надежд?  
Что же вы, обречённые листья,  
не поднимете смуту, мятеж?

*1967*

\* \* \*

Снег и снег... Всё снега... Пустынно.  
Так тоскливо, что некуда деться.  
Весь напрягся, схожу с ума, кровь стынет.  
Себя слышу я с самого детства.

Раздарил жизнь свою, обнищал я.  
Опустились бессильно плечи.  
Не прощанья друзья обещали  
на пустом горизонте, — встречи.

Растерял, растерял я глупо  
груз мгновений под лунным светом.  
Как любил, ненавидел я скупю! —  
и грущу, и жалею об этом.

*1968*

\* \* \*

Смуты душат человека,  
и сердечный друг  
облукавливает, эка,  
даже мать, сестру.

И хитрит, и соблазняет,  
губит, предаёт,  
ведь, подлец, прекрасно знает,  
что и он умрёт.

Смерть неотвратима, но вот  
не страшится, нет,  
снова блудит он и снова  
плачет мне в жилет.

Не Христос я и не Будда —  
чем я помогу,  
я и сам не ангел, будь я  
проклят, если лгу.

Бес ли ловко точит душу  
и давно ли влез —  
не даёт покоя, сушит,  
держит, держит в зле...

*1968*

## СТРАХ

О вечном, лишь только о вечном,  
о всём мимолётном забыв,  
ты думай (не божья овечка,  
а пастырь), любя коллектив.

Средь мыслей бредовых, бедовых  
и бог ещё знает каких,  
ты, пастырь, как будто ребёнок,  
ревнитель иллюзий моих.

Я вижу — народ мой проснётся,  
раскинет умом и поймёт,  
что раньше он был инородцем,  
а ныне — прервавший полёт.

В руках держит новую книжку,  
глаза видят ясно вполне;  
и будет мгновенная вспышка,  
которой во времени нет, —

под чёрною тучею, громом,  
скрывая его самого,  
живёт вечный страх полнокровно,  
и как бы живёт вне его.

*1968*

## ВРАГ

Открытый враг мне мил, он неопасен:  
не зная тайн моих, смертельно не ужалит —  
донос составит, может, иль напишет пасквиль.  
Умру ль от этого иль дрогну? Нет, пожалуй.

Друг — самый и опасный, и коварный  
первейший враг, насквозь тебя он знает.  
И знает как тебя убить хитрее, окаянный.  
Не дрогнет у него рука... Бывает...

*1968*

\* \* \*

Хотелось мир переиначить,  
его ругая и кляня,  
разнообразье внести в жизнь нашу,  
обнять друзей, врагов обнять.

И всех любить... Но это значит,  
что никого и не любить,  
путь жизненный свой обозначить  
пунктиром лжи, иудой быть.

Куда ни глянь, везде дурманы:  
и лицемерье, и обман,  
идей промозглые туманы.  
И в снах, и в яви — всё туман.

Душа тоскует по святыне.  
То — правда бога и моя.  
Тоска в глазах, в душе отныне.  
Тоска и мысль мой дух творят.

*1968*

\* \* \*

Во всём один свет, один дух.  
И могут ли поле и злак друг без друга,  
цветок и пчела? Все приравнены богу.  
Народы, сердца — все бредут  
отдельно как будто, но могут ли в круге  
одни без других, нет, не могут, не могут.

Апостол ночей Сениэль,  
ты бродишь по комнатам, ты вымеряешь  
их вдоль, поперёк одиноко, печально,  
всё ищешь во всём суть и цель,  
а сам всё теряешь, теряешь, теряешь  
и горестно светишься — слабо, прощально...

*1969*



\* \* \*

Приникнув к миру, на рассвете  
услышу голос в ранней мгле,  
что бренны мы на этом свете,  
что временны все на земле.

Мотив сей, душу отравляя,  
грызёт меня, жить не даёт.  
Пора! За счастьем отправляюсь.  
Вокруг темно, и путь далёк.

За счастьем отправляясь, знаю  
что ждёт меня на том пути.  
Вот почему всю ночь без сна я.  
Уйти мне в путь иль не уйти?

Пусть бренны мы на этом свете  
и временны все на земле,  
не важно: упаду во цвете  
иль дряхлым — в девяносто лет.

То важно, что не испугался,  
не побоялся тёмных сил,  
за счастье и за правду дрался,  
бессмертье смертью заслужил...

*1969*

\* \* \*

О, пронзительной ясности миг!  
О, я кое-что понял, приятель, —  
ты в фаворе, допустим, ты мил,  
и богат ты, и щедр, и приятен.

А когда ты в загоне, весь мир,  
ну весь мир ополчится, зараза,  
в жизни против тебя, пессимист,  
и не вы-игра-ешь ты ни разу.

Тихо тени бредут... Проиграл,  
проиграл я тут всё... Ну и ладно,  
не убил, не предал, не украл,  
ну и что ж, что остался в накладе.

Свет уходит из тела. Беда.  
Словно к стенке поставленный, стражду.  
Вижу тени... Бурьян. Лебеда.  
Вижу — тени бредут. И мне страшно.

Тихо тени бредут на восток.  
Мы бредём, опустив долу очи.  
Ход к истокам... В земле — наш исток.  
Приласкай нас, о мать вечной ночи.

*1969*

\* \* \*

Ах, годы, годы, наши годы,  
где ваша радость светлых дней?  
Пугают мрак и непогода.  
Не вижу, жизнь, твоих огней.

Умру, наверно, я и — скоро.  
Не буду жив, когда умру.  
И лишь душа моя несколько  
той смерти не боится, друг.

Душа в мирах пребудет вечно:  
хоть не во мне, но всё ж — жива.  
Была ли жизнь? Была. Как свечка,  
она бездумно сожжена...

*1969*

## СОН В ДЕРЕВНЕ

1.

Стояла на скате пологом горы ты, вся в белом,  
облитая светом холодной луны и при этом  
казалась видением призрачным, словно хотела,  
сейчас, спохватившись, шагнуть тихо в сторону; бедный,  
я замер: растает, я думал, как лёгкий туман  
предрассветный.

О, тоненькая, сколько лет ты не снилась, почивши,  
и сколько воды утекло с той поры, и приснилась.  
Приснилась? О, нет, тебя вижу воочью в ночи я  
живую — виденье сие сна любого почище,  
но вспомнить кто ты не могу, как не бьюсь,  
вспомнить силась.

2.

Луна, как окошко в огромной пустынной стене ты,  
любовно закрытое занавесью — лёгкой жёлтой.  
В ночи кроме нас, думал я, никого больше нету,  
но кто-то стоял у окна — он, она; до рассвета  
шептали друг другу две синие тени томительно что-то.

Свежо их дыханье, вздымает едва лёгкий занавес...  
А здесь, на земле, колыхнулись намокшие листья  
деревьев  
и ветер родился печальный, и длинно вздохнул;  
в сердце — замять.

Так больно душе, одиноко; по-детски, обиженно, заново,  
упав на могилу мечты, о видение, плачу в деревне.

1970

## СОСНЫ ШУМЯТ

Всю ночь без сна я. Слышу, как окрест  
шумят всё сосны, ничему не вторя.  
Вот так шумит порой ночное море,  
когда потянет ветерком зюйд-вест.

И ветру рад попутному челнок...  
Мир отдыхает: крика нет и эха.  
Шум сосен. Сна потеряна утеха  
и сбилось почему-то сердце с ног...

В душе теснится жуткая забота.  
Что за пожар? Горит ли где-то что-то?  
Кто тонет? Кто кого спасать спешит?  
Челнок зачем-то без конца кружит!

Разносится в простор надрывный стон,  
и отдаётся всей вселенной он.  
От мыслей больно голове мятежной.  
Шум сосен, не смолкаемый, безбрежный.

*1970*

## ЗЕМЛЯК

Нет сил тому не поражаться —  
влез в пушкины всерьёз вполне  
земляк мой, Педер Подражатель,  
в худой чувашской стороне.

Не только подражал, сосал он  
(Есенин, Пушкин, Байрон, Фет,  
Доронин...). Слог его так жалок,  
безвкусен, что поэта — нет.

Какой же лирик он — без лиры?  
Он — лжец и врун, тем и велик.  
Все истинные барды мира  
за истину костями легли.

Перепевая, он ограбил  
татарских чувашей фольклор.  
Раб лести, и карьеры раб он.  
Эвон куда пробрался вор!

Сумел: ведь уж давно — «народный»,  
сей Пушкин. Просто чудеса!  
... Таков был в жизни враг мой кровный,  
зело похожий на скопца.

*1970, март*

## ЭПИТАФИЯ

Он длинный рубль любил, сей краснобай,  
плёл вирши длинно Педер Казанбай —  
с чужого голоса на много километров.  
И гонорар лопатой загребал.

Народ свой не любил, сказал: «Чуваш —  
пока ещё скотина, алабаш,  
наверно, ею вечно и пребудет...»  
А сам хотел, чтоб он любил его, алкаш.

*1970, март*

## В ТУМАНЕ ЛЕТ...

*Вере Симоновой*

Пусть разные у нас теперь, подружка, тропы,  
мне не забыть, как мы тайком, друг мой,  
на вальсы, танго, твист и на фокстроты  
в Дом офицеров бегали с тобой.

Была порою ты в вечернем чёрном платье  
такая строгая, что в синеве очей  
и в золоте волос твоих тонул я, чуть не плача,  
и я, в тревоге и любви, потом не спал ночей.

И всё-таки тогда мы славно погуляли!  
Того веселья свет в душе поныне не угас.  
И нежность сладкую друг к другу мы узнали.  
Сам бог соединил тогда, наверно, нас.

В тумане лет стоишь всё в платье чёрном.  
Тебя увидя, и сейчас я сам не свой.  
И с каждой вешней золотой зарёй вечерней  
тебя я, Вера, вижу пред собой.

И альма-матер вижу — небыли и были.  
И юность бурную, сокрытую во мгле.  
О как любили мы и как любимы были!  
Но... мало этого для счастья на земле.

*1970*



## ПРИЯТЕЛЬ

Спросил приятель: «Знаешь ли, несчастный,  
жизнь — суета и суета сует;  
и вскакиваешь чё, как чокнутый, всечасно,  
ведь в жизни нашей ничего и нет?»

Не видишь разве, что всё пусто, тщетно,  
и протекает всё как бы во сне?  
Кому нужны с тобой мы вообще-то  
ну... хоть по осени, хоть по весне?...»

И я ответил: «Есть томленье духа —  
есть, стал быть, дух, и только потому,  
тебя послушав, не повёл и ухом,  
почёл за бред твою я эту муть...»

*1971*

## СОСЕД

«Для чего живёшь-то, человече,  
для еды-питья и продолженья рода?  
Ах, живёшь, чтоб жить? И как не жить на свете  
коли ты живёшь? А что есть жизнь?»  
— «Морока».

«Ежели черёд настанет, что же,  
денешься куда?»  
— «На то господня воля,  
супротив неё ведь не пойдёшь ты,  
значит, так предписано, такая доля».

*1971*

## ЮЖНЫЙ ПОСЁЛОК

Жил в городках я и в сёлах.  
Жил и в столице, и вне.  
Пригород — Южный посёлок —  
сразу понравился мне.

Комнатку дали в бараке.  
Садик есть. Вишни цветут.  
Не состоящему в браке —  
много хлопот парню тут.

Грядки копай, лук сажай ты —  
надо же жить как-нибудь!  
Будь заодно и хозяйкой,  
и за хозяина будь.

С делом исправно справляюсь...  
Ночью я — пленник весны.  
Диву даюсь я, гуляя:  
нету на Южном шпаны!

Странно, куда перетащена,  
вдруг подевалась куда?  
В тюрьмах сидит — пересажена,  
встретимся, выйдет когда.

Мне не впервой со шпаную  
тёплый иметь разговор:  
вижу — с ножом, не заную,  
хоть пред глазами и вор.

Хоть пред тобой и убийца,  
надо его обуздать  
силою слова, чтоб бился  
в судоргах он — супостат...

1971

## ПУСТО...

В посёлке Южном весенние  
удивительны вечера.  
В садочке моём — цветение.  
А в душе — ни хера.

Над крышею дома чуть теплится  
грустный месяца свет.  
Терпи, о душа, пока терпится,  
он зачем тебе — цвет?

И нужно ль болеть мне, такому,  
за любовь, за судьбу —  
судьба как судьба, всем знакомая,  
не судьба, а сумбур.

В любви неудача? Ну что же ты?  
И в любви и в делах  
мудрец пропадёт, уничтожится,  
а дурак — весь в цветах.

Особенно он в дни весенние  
удивительно расцветёт.  
В садочке моём — цветение,  
а в душе — пусто, чёрт!

*1971*

## НАДЕЖДА

Вот вечер, тихий вечер,  
село, в селе в том сад,  
где я с Надеждой встречи  
ждал много лет назад.

Она прошла дорогою  
и не свернула, нет.  
Я всё глядел с тревогою  
сквозь заросли — ей вслед.

Вдыхал прохладу ночи,  
ход месяца ловил.  
О, как сверкали очи,  
как жаждал я любви!

Тем часом, словно фосфором  
облив село и сад,  
и месяц скрылся, господи,  
ушёл через леса.

Роняло звёзды небо.  
Я плакал над собой:  
«Тебе надежды нету,  
нет встреч тебе с судьбой...»

Вот вновь село и вечер,  
в селе всё тот же сад,  
где не дождался встречи  
я много лет назад.

Вновь просветлённо очень  
под месяцем иду,  
но не сверкают очи.  
Я никого не жду.  
*1972*

## ДОЖДИ

Дожди идут, дожди...  
Трепещут листья... Осень...  
Опутала меня,  
как наважденье, тьма.  
Не понят, не любим,  
раним я и тревожен.  
Грустнее всё слова.  
И осень — как тюрьма.

Дожди идут, дожди  
то сдержанно, то сильно.  
Что зацветёт сирень,  
я осенью не жду.  
Зачем же я хотел,  
хотел в неудержимом  
всем сердцем удержать  
дней юности мечту?...

*1972*

## СВЕТ ДУХА

Ах, кто невозможное сможет узреть?  
И то, что не должно запомниться нам?  
Туман и тревога — в ночи на заре.  
Погасла свеча. Мрак и жуть. Ты — без сна.

Пока ещё, отжив своё, не ушёл,  
тебе на виду заалевшей зари,  
тебе, пережившему мрак хорошо,  
округа велит: говори.

Ты в кровь обмакни свою душу — перо.  
И пусть оборвётся нить жизни твоей,  
но прежде, чем сгинуть, успеи свой народ  
на истинный вывести путь, пожалей.

Оспорив у вечности, миг или жизнь  
старайся продлить ради правды, поэт.  
Всё, всё потеряй, сна, рассудка лишись,  
но совесть храни — духа свет...

*1972*

## МОЁ НЕБО...

Надо мною высокое небо,  
предо мною родная земля.  
Два крыла, сердце сокола мне бы,  
сразу б взмыл в поднебесие я.

Не ходил бы беседовать с тенью  
вяза старого к быстрой реке —  
то ли слушать весёлое пенье,  
то ли — всхлипы и плач вдалеке.

Пополам разделили дорогу,  
раскололи судьбу пополам  
то ль стенания йомзей-пророков,  
то ль раскидистых лип купола.

И бессветно в душе, и безмолвно.  
День проходит, идёт не спеша.  
Хоть с округой и связан я кровно,  
почему-то томится душа.

Не крыло, сердце вешее мне бы,  
не хочу в поднебесие я.  
На земле, на земле, не на небе,  
моё вечное небо, друзья!

*1972*



## ФЛИРТ

Рокочет море — жизнь рокочет.  
О чём? О смерти? О любви?  
Уймись, тоска! Растай, мрак ночи!  
А сердце — смелость прояви.

Нас двое, милая, нас двое.  
И вышли из каких мы снов?  
И ждём, и ищем, беспокоим  
себя — накал страстей не нов.

И я с тобой — как фрайер. Bravo!  
Не отвернёшь ни губ, ни глаз.  
Ты, милая, имеешь право  
на выбор — право на отказ.

Об этом же и жизнь рокочет:  
отказ ещё не смерть любви.  
Дождался я, дождался ночи,  
пришёл и смелость проявил.

... Нет радости, нет и в помине,  
жжёт душу мрак — тоска и грусть.  
Коль нету счастья в этом мире,  
то где найдёшь его? Мир — пуст.

*1973, Рижское Взморье*

## МОЙ ГРЕХ

Ты, восходящая звезда,  
таясь людей, себя и бога,  
садишься, заголившись, боком  
вблизи меня, в том есть нужда.

Ошеломляешь, но увы,  
хоть и огонь дыханье глушит,  
твоим словам не верят уши,  
привыкли губы, я привык.

Не христа ради, не за грош  
на бедность — ходишь, любопытство  
и жжёт и давит; смело, быстро  
разгон берёшь; и я хорош.

Но любопытство не людское,  
а сатаны в тебе вошло,  
в меня навек оно вошло  
напоминанием разбоя.

Я нужен, да, я помогу,  
и, будь уверена, та книжка  
твоя... ну... выйдет, хоть и слишком  
плоха она, но я смогу.

И любопытство тут... причём?  
Иное нужно тут сказанье:  
лауреатства, денег, званья  
живой трамплин я — дурачок.

*1973*

## ШУМЯТ БЕРЁЗЫ

*Геннадью Айги*

Шумим. Мы берёзы. Шуршим.  
Мы шепчем: кто умер, кто умер?  
А может быть, бог? Нереально, неумно.  
А может, бог нашей души?

Ведь всё может быть. Осень — страх.  
И мы — дуновенье распада.  
И нам одиноко и пусто. Досадно —  
и наш же развеется прах.

Нам даже не больно. Шурша,  
всему мы конец не пророчим.  
Всё в мире шуршит, как и впрочем  
шуршала и наша душа.

Она что, мертва? — Я спрошу.  
Душа мировая жива? Безусловно.  
Шум осени? Да. Но уходит он, словно  
покинутый, — осени шум...

*1973*

## СТРОЙОТРЯД

Был я юный и сильный.  
Ах, как годы летят!  
Где теперь мой целинный  
стройотряд, стройотряд?

Кто теперь сорок первый  
в стройотряд претендент?  
Знал бы ты, как мы пели,  
как трудились, студент.

Степь... Жара... Люди...  
В небо орёл взмыл...  
В землю вгрызаемся люто.  
В этом весь смысл.

Камень бьём кувалдой,  
крепкий фундамент кладём,  
чтоб не шатко, не валко,  
вечно стоял наш дом!

В Казахстане мы строили.  
Не о нас ли ваш спор?  
Да, чего-то мы стоили! —  
письма шлют до сих пор.

Что жалеть об утерянном  
под гитары трезвон, —  
в стройотряде вневнеменно  
мы шагаем уверенно  
и поём с вами в тон.

Были как бы двужильны...  
Будь нас лучше стократ,  
боевая дружина,  
нынешний стройотряд!  
*1974*

\* \* \*

В Казани это было. На Парнас  
хотелось нам, на литобъединенье  
в СП ходили мы; хоть наши мнения  
нас не объединяли, мы не раз  
сшибались, чтоб узнать что есть стихи,  
в чём всё-таки первейшая задача.  
Мои дела были всегда плохи,  
я слушал тихо и смиренно, чуть не плача,  
разнос в свой адрес всех литмастеров,  
Рустема, Яна и других херов,  
что не одну собаку в этом съели  
и кои до смерти мне надоели.  
Сказали: на Парнас мне путь закрыт —  
гора крутая, подступы крутые:  
не овладел я средствами, простые  
не уяснил и правила игры.  
Но я не верил им, я, признаюсь,  
хоть и читал с наивным восхищеньем  
авангардистские стихотворенья,  
испытывал к ним отвращенье, грусть.

*1974*

## ЛЮДИ, ЛЮДИ...

Люди, люди, счастливые люди,  
сговоритесь вы, чтоб и на нас  
благодать низошла, и мы будем  
тоже счастливы — и все забудем  
эту жизнь укорять, проклинать.

Зазвучат мои струны на лире  
среди тысяч и тысяч смертей —  
станет жизнь и просторней, и шире.  
И наступит гармония в мире.  
И не будет невзгод у людей.

По часам жизнь свою не измеряю,  
а измеряю счастливостью лет.  
Песне звонкой лишь, вольной, доверюсь.  
Люди, люди, я знаю, я верю:  
будет счастье на нашей земле!

*1974*

## БЕЗ ЛЮДЕЙ...

Без людей я никто. Только люди  
и подымут меня, и сгноят —  
иль шербет мне дадут, или яд.  
И все, кто ненавидит, кто любит,  
на земле ряд за рядом стоят.

Осень ли на пороге, весна ли,  
ожидая своих, свет зажгут  
в комнатах... И меня где-то ждут.  
Без людей как мне жить? Я не знаю.  
А они без меня проживут?

Как я раньше не думал об этом?  
Без людей обходился я как?  
И не так, и не эдак, никак  
не мечтать мне без них о победах.  
Без людей как прожить мне в веках?

*1974*

## ДЕТИ

Дети — созвездья земли.  
Так говорит совесть сердца.  
Чтобы на них наглядеться,  
нужно, чтоб вечно цвели.

Дети — надежда земли.  
Так говорит радость сердца.  
Чтобы на них опереться,  
нужно, чтоб дети росли.

Дети — тревога земли.  
Так говорит нежность сердца.  
(Дети на солнышке греются,  
дети домой не ушли.)

Папы и мамы земли,  
с бомбой и без, в ваше сердце,  
в душу глядят ваши дети.  
Нужно, чтоб их не сожгли...

*1975*



## ЛЕБЕДЬ

### 1.

По весне, как лягут солнца блики,  
слышу в небе крики лебедей.  
Из глубин веков доходят крики  
над снегами, что пера белей.

Берегов закраины размыты,  
над землёй оттаявшею — пар.  
Ты знавал с незванным гостем битвы,  
мой Сувар — страна в Стране болгар.

Нас хотели уничтожить с корнем.  
Лишь в Сувар ворвался Субедей,  
девушки с красою непокорной  
взмыли в небо стаей лебедей.

И сейчас они летят на север  
день и ночь, что с каждым днём светлей, —  
семьдесят и семь по-над весенней,  
по-над древней родиной своей.

### 2.

Адал — Волга. Пятьдесят гусей,  
а средь них — печальная хурагаш.  
Нет на свете песенки грустней,  
чем о белой лебеди — куда уж...

Лебедь бьётся на волне,  
путь — стезя её — другая.  
Ки-ик! Ки-ик! В тишине  
всё кричит, гусей пугая.

Стаю всю вела она,  
даль за далью пролетая.  
А теперь — совсем одна.  
Где же небо? Где же стая?

Отчего висят крыла?  
Где и кем вы перебиты?  
Высь была — упала мгла.  
Были лебеди — забыты.

3.

Нет в Чувашии с тех пор  
лебедей. Красавиц — много.  
Ну а много ли озёр  
лебединых? Если строго —  
только в песнях есть, чисты,  
ну ещё в стихах немного.  
Где же, лебедь, где же ты?  
Где же к озеру дорога?

4.

Хурагаш где? На Адале?  
Нет, в северном краю,  
где ели в воду падали,  
дряхлая на корню,  
но защищали тех ещё,  
кто пережил беду  
среди камышей желтеющих,  
у солнца на виду.

5.

Не назвать ли дальних лебедей?  
Не создать ли новые озёра?  
Можно ли вернуть их в край людей  
осторожно, по одной? Нет спора.

Наглядимся досыта на птиц,  
окольцуем, но не для корысти —  
чтоб сберечь. Как много добрых лиц  
поднято в озвученные выси.

Мы, хурагаш, ждём тебя. Салам!  
Сделаем прекрасней всю окрестность,  
старым песням, будущим стихам  
лебединую подарим верность...

6.

А лебеди сидят на тополях,  
наверно, ночевали на ветвях.  
Я как пришёл к друзьям своим давнишним,  
так сразу душу выплеснул в словах.

На холм поднялся, а зачем — пойми!  
Вдруг наступлю на голову змеи.  
И речь моя груба — не благодушна.  
Веселье вам сорвал, друзья мои.

Вот говорят: душа. Ну что ж, она  
порой для смысла здорового вредна.  
Не обнажал бы душу, но невмочь мне —  
без этого и жизнь не так полна.

А лебеди сидят, и тополя  
стремятся ввысь, хоть держит их земля.  
И мне, наверно, вслед за дерзким ветром  
пора умчаться в просторные поля...

1975

## МОЯ ЗВЕЗДА

Звено теряет за звеном  
дней ожерелье золотое.  
Проходит век мой скакуном,  
и вслед ему всмотреться стоит.

Он громко ржёт напрасно ль? Нет,  
не хочет кануть конь мой в пропасть.  
Так проклинать ли целый свет  
и проклинать ли жизни проблеск?

Для не удавшейся судьбы  
найдётся лишь прощанья слово.  
Пусть ржёт, вставая на дыбы,  
мой конь, мой добрый конь бедово.

Глаз не смыкаю до зари.  
Ночь виновата ль, что не длится?  
Как много в небе звёзд горит!  
И долго ли моей светиться?

*1975*

## ВЕРЮ В РОССИЮ

Свободна, неистошима  
фантазия ветра, воды и света.  
Богата сказочно... Мы вот,  
поэты, частица фантазии этой.

Немыслима, неоглядна.  
И даже земля лишь пылинка-частица.  
О, мать всего сущего, мать,  
материя мира, в с ё из тебя родится.

Круговорот, превращения —  
в разумном нимбе качеств и свойств всё;  
и нет ничего в мире кроме;  
и так бесконечно и вечно — устройство.

И вот настало время  
(сгустилось оно и уплотнилось),  
когда и Ложь, и Правда —  
космического порядка силы.

К последней черте я придвинут —  
о, где ты, истинность лица и духа?  
Ведь лжи и преступлений  
уж больше, чем ядерных бомб; вникни, ну-тка!

Питающиеся падалью,  
космический мрак хотите наслать на землю?  
Хотите погасить солнце?  
Россия мешает вам, мешает Рас-сея.

В России есть люди,  
живущие солнечным светом Правды.  
Великому Объединенью,  
а не разобщённости люди эти рады.

Безверье есть бездуховность.  
До разума материи бы достучаться.  
Я верю в Россию, в спасенье.  
К спасенью всеобщему и поэты причастны.

О, времени воздух грозный!  
О, промысел тайный природы-материи!  
Боюсь я: поймём ли друг друга  
мы — овцы простые и волки матёрые.

*1976*

## НА ЗЕМЛЕ

Грань —  
меж звуком и тишиной,  
светом и тьмой,  
жизнью и смертью.

Ты  
на этой на грани  
на пределе всех сил  
и накала,  
будто вот-вот разорвёшься,  
сгоришь и обуглишься весь,  
бьёшь в набат —  
на земле —  
всем о том, что все люди  
лишь играют в людей,  
а когда перестанут,  
не признают друг друга  
людьми.

А когда мать твоя  
умирала —  
видно, слышал ты бога,  
видно, сам ты стал богом.  
Бог с земною душой,  
ты всё видишь насквозь  
глубиною души,  
глубиною ума.

Свет очей,  
свет нашего голоса,

свет души  
в светлой тьме тишины  
умоляют,  
подняться нас просят  
на самые выси.

Ты из света и воздуха,  
ты незрим нами будто, —  
духу святому подобен.  
Гоним тебя с родных мест,  
порочим всюду, проклиная.

... Не простит никогда  
нас  
слеза твоя —  
оксюморон.

*1976*



## УЛЕТЕВШАЯ ПЕСНЯ

*Памяти Юрия Скворцова*

Уходишь, словно горишь в обиде,  
уходишь странно и невзначай.  
И не удержишь, и не увидишь  
тебя уж снова — прости, прощай.

Меня корёжит судьбы нелепость  
твоей, дружище; скажу без слёз:  
таких бедовых средь мудрых редкость;  
и улетел ты, и песнь унёс.

Тот, кто зануда, склад тьмы и хлада,  
тот не уходит, тот, как кощей,  
бессчётно много дудеть заладит,  
давя громадой пустых речей.

*1977*

\* \* \*

Всё будто бы прошёл —  
но шито ли всё и крыто?  
Вот ведь к чему пришёл —  
разбито моё корыто.

Снова кричит тоска  
пронзительно и печально.  
Явь моя мерзка,  
а сны мои одичали.

В снах, как и наяву,  
любовь насилуют, топчут.  
Женщина, с которой живу,  
сама вроде этого хочет.

Правду, коей дышу,  
уж в угол вновь загоняют.  
Пулю себе в лоб пущу,  
чем жизнь, как все, заговняю.

Лучше таким концом  
себя и вас всех ославлю.  
И, просветлев лицом,  
взбесившийся мир оставлю.

*1977*

\* \* \*

Тоскую я, тоскую по душе  
мне родственной; ищу, не нахожу  
уж сколько лет — ловлю и на ходу,  
и на житейских сходках; и уже  
стал уставать, уж вроде не хочу.

А сколько раз в пылу взлетал душой,  
чужую принимая за свою,  
легко поверив суете большой!  
И встретил, может, но прошёл, прошёл  
я мимо — не узнал любовь мою.

Тоскую... Неизбывна, зла тоска...  
И из неё нет выхода совсем,  
нет выхода... И, чтобы радость съесть,  
всё шире и страшней тоски оскал —  
чтоб душу сжечь и сердце сжечь...

*1977*

\* \* \*

*Л.З.*

Я ждал тебя, ждал,  
но не дождался, ты не пришла.  
Я искал тебя, искал,  
но не нашёл, ты не нашлась.

Я жду тебя, жду,  
ты хоть и рядом, но нет тебя.  
Я ищу тебя, ищу,  
ты хоть и рядом, не найду тебя.

Наверно, больше не буду ждать;  
наверно, больше не буду искать:  
не будь больше рядом со мной, исчезни,  
совсем исчезни, пропади ты, б...!

*1977*

## ОДИНОЧЕСТВО

Людей так много, а друзей так мало,  
но и от них неслыханно далёк,  
живя и маясь в буднях, как в тумане,  
я безнадёжно в мире одинок.

Как сблизиться с друзьями мне, не маяться?  
И как, рассеяв мглистый тот туман,  
уверовать в друзей, не сомневаться  
в их верности, когда всё-всё — обман?

Как верить мне в любовь, когда из праха  
мною поднятая ввергла в прах меня?  
Нет, не любить любовь, а только трахать  
и нужно, видимо? И — изменять?

Без светлых чувств, без упоенья, тупо  
пахать и пребывать в предсмертной мгле  
от пустоты в душе, тоски, и глупо  
внушать себе: нет счастья на земле?

Куда нам, одиноким, в мире деться?  
Дано нам одиночество судьбой.  
Смертельная обида точит сердце.  
И всё же... не покончу я с собой.

1977

## ГОНЯТ

Гонят, падлы, гонят, гонят...  
И местком тут, и обком...  
Видно даже без очков —  
не сегодня буду понят.

И — не завтра; нет надежды.  
В чём вина моя, беда?  
Видимо, я угождать  
не умею им — невежда.

И потом — пишу неплохо  
по сравнению с тем хамлом,  
кое в разных там уловках  
съело суку с кобелём.

Стихотворцы-блюдолизы,  
графоманы всех мастей,  
в классики все подалися —  
чем их больше, тем лютей.

Званий, премий всевозможных  
обладатели — они  
божьей искры, даже ложной,  
богом напрочь лишены.

И лютуют, и штурмуют,  
и строчат на нас донос:  
«Те, кто к нам верлибр занёс,  
все враги, скорей в тюрьму их!»

Я его не заносил.  
Никакой другой заразы  
не пытался внести ни разу —  
всё равно вопят, нет сил.

Книги — жгут. И им — раздолье.  
Петь — запрет. Запрет — орать.  
Смерть. Нежизнь... Напиться что ли?  
В стельку? В дым? Иль подождать?

Литр обильнее чекушки,  
чтоб сплясать кордебалет...  
Одолжи, дружище Пушкин,  
дай строфу, один куплет:

«Сохраню ль к судьбе презренье?  
Понесу ль навстречу ей  
непреклонность и терпенье  
гордой юности моей?»

*1978, февраль*

## НЕ ЗАБЫТЬ...

Были годы, ужасные годы!  
Был осёдлан я, загнан, забит.  
И текли, и текли, словно воды —  
этих лет и в гробу не забыть.

Связи с прошлым, изжитым, разорваны.  
Ты свободна теперь, о душа!  
Погрустив, воспылать не зазорно —  
жаждать, жаждать, мечтой подышать.

Ах, постичь бы, пускай и не сразу,  
ах, постичь бы мне... божьих тропин  
и твоих, жизнь, невидимых глазу  
сокровенных душевных глубин.

И развеять бы взглядов туманность —  
поддержать личность надо, не бить:  
пусть лелеет нам душу гуманность  
человека любого любить.

Человека любить, не народы...  
Не с того ли и душу я спас,  
и текут, и текут эти воды,  
удаляясь всё дальше от нас,  
словно годы, мой друг, словно годы?...

*1978, февраль*



## ТЕ И ТЫ

*Памяти поэтов-мучеников  
Осипа Мандельштама, Павла  
Васильева, Николая Шубоссини.*

О юный поэт, озабоченный правдой,  
на что тебе — истина, правда — на что?  
Ведь ждут одни горести, беды, не радость,  
тебя; и конец твой — бесславлен, жесток.

Ты втёрт будешь в землю, ум светлый, и даже,  
тьфу-тьфу, может быть, гениальный; стой,  
не рвись, — без следа, без отдачи утащит  
тебя сатана, как и Т е х , на убой.

Т е не говорить главной правды могли бы,  
была и причина, и повод... могли б,  
но совесть и честь взбунтовались так лихо,  
что каждый без страха за правду погиб.

А тьмы блюдолизов любой власти рады,  
и ложью жива их эпичность, лиризм.  
И клятву дают воздержанья от правды;  
и клятве название — соцреализм.

Ничто над пророком не реет (как верность,  
как вера, как бог) кроме истины, нет.  
И сущее — всё — с точки зрения вечности  
ты воспринимай с юных лет, с юных лет...

*1978, февраль*

## СПАСИБО...

Сказали: здесь тебе не место,  
и так двенадцать с лишним лет  
капризничал ты, как невеста,  
вредней тебя тут зверя нет.

По собственному ли желанью,  
антисоветчик и злодей,  
уйдёшь отсюда или властью  
раздавлен будешь среди страстей.

Вот так со службы и не зря я  
был вышвырнут пинком под зад:  
не Демон, изгнанный из рая,  
не Данте, созерцавший ад.

Под натиском среды советской,  
теснимый и гонимый, я  
был отеснён и сдвинут резко...  
Спасибо, родина моя!

*1979, июнь*

## ЗАЯВЛЯЮ...

Забывшие себя, — язык и род,  
свои родные песни и наследье, —  
вы, предавая свой родной народ,  
в манкуртов превратились все на свете.

Сказать ясней: вы — перекаати-поле.  
Ещё яснее: в проруби — говно.  
Шесть-семь десятков тысяч вас, не боле,  
тошнит меня от вони всё равно.

Эй, вы, русскоязычные чуваши!  
Вы, презирая свой родной народ,  
не сможете убить его, все ваши  
потуги и напрасны, и не впрок.

Я заявляю вам, в него влюблённый,  
торжественно и гордо: вы — урод.  
Да здравствует народ мой двухмиллионный!  
Да сгинет весь русскоподобный сброд!

*1979*

## ОТЕЦ

Молчание — привычка его мудрая:  
что попусту болтать, какой в том интерес?  
Всё видел он, всё испытал и, годы путая,  
не предавал, не воровал, в друзья не лез.

Лесть низкая с изменою равняется  
и — с грабежом. Об этом тот кричит,  
кто праведник, а сам грехами давится.  
Отец не праведник, он грешник, но он чист!

Богатств не накопил, всю жизнь он вкалывал  
на государство, на колхоз и на детей своих.  
Отца не помнит, мать любил, ухаживал,  
а маму нашу, как и нас, боготворил.

На фронте фрицев двух, пока сам был в сознании,  
из пулемёта лично срезал он.  
Мы, семеро сынов, живём, его созданыя,  
все по нему — считает так село.

Отец, отец! Наш совестливый, чудный!  
Ты не тужи, что старый, не тужи.  
Забудь те жизни, тяжесть сбрось. В день судный  
оправдан будешь, снимешь грех с души.

Ты был солдат, солдат был ты и только.  
И если бы не ты, они б тебя... Судьба.  
Фашист есть людоед. За око — око.  
И кто бы стал иначе поступать?!...

*1980*

## ОТКРОВЕНИЕ

Не словом суетным бы, а  
былинным иль каким иным  
вас описать, но не бывать  
вороне соловьём лесным.

Что каркать, раз несёшь не то.  
Угомонись, а то накличешь  
беду какую; дело в том:  
ворона — сама смерть. Обличьем.

Вокруг кружится вороньё.  
И друг, как ворон, надо мною  
клюёт бессмертие моё.  
Рука дрожит и сердце ноет.

Не бога в этот миг, тебя,  
солдата, батя, вижу в сердце.  
Вороной белой дух несётся,  
друзей, как молнией, слепя.

Их не сразишь из пулемёта,  
они друзья, а не враги.  
Живой пока, но будто мёртвый.  
Где люди? Не видать ни зги.

... Отец, в таком вот состояньи  
довольно часто я бывал:  
«Не словом суетным бы, а  
калёным жечь их», — повторял я.

*1980*

## СТАРЫЙ СОЛДАТ

Молчун седой, родитель мой,  
солдат израненный, зек бывший,  
войной приучен иль тюрьмой —  
не зубоскалишь о всевышнем.

Тогда в окрестностях Москвы,  
на самом главном направлении  
с рукой раздробленною взвыл  
ты не от боли, от знаменья.

То — факт и не позорный, нет,  
в той обстановке даже в норме.  
Ты был в расчёте первый номер  
на тяжелейшей той войне.

Во сне ли это, наяву ль,  
но голос слышал, слышал точно,  
что подсекут... А на Москву  
фашист всё пёр, и было тошно.

Сказал ты: не бывать тому!  
И ты, отец, в строю остался,  
ещё двоих убил, чему  
всю жизнь не рад, тоскуешь часто.

С тобой всё прошлое, с тобой  
и настоящее с грядущим.  
Ты как немой, но голос твой  
всевышний слышит, вездесущий.

Не говори: «Мы — мошкара,  
пройдём, и знать никто не будет».  
Беседуй с пчёлами с утра,  
с природой — в праздники и будни.

Наедине слышнее глас  
веков — так повелось издревле.  
Свети, отец, крестись, а древо...  
оно ж не засыхает враз.

Мы будем продолжать твой род,  
и в нас ты будешь жить, во внуках.  
Трудясь, горя, в страданиях, муках,  
тебя восславим и народ!

*1980*

## ТРУД

Отец и мать меня любили  
и любят, а вот азанне\*  
вдвойне любила, хоть и была,  
но билась за меня сильней.

С ведро подрос, стал драться дико я  
за первенство в ватагах. Вдруг.  
Досадно бабке: недосуг  
родителям. Ох и родители —

с зарёй уходят и с зарёй  
приходят. Бабка отдувайся.  
Ремень брала. И я, герой,  
не плакал, молча раздевался.

Потом нас стало семь. Ремень  
солдатский наш, отцовский, новый,  
карал уж каждого сурово,  
но справедливо, через день.

Ремню на смену труд явился.  
Учила бабка: не вилай,  
когда прилежно потрудился,  
свободен будь, иди гуляй!

Умей работать, сукин сын,  
раз жрать умешь, говорила, —

---

\* *Азанне* — бабушка по отцу.



любила нас, жалела, била  
и билась из последних сил.

Отец и мать боялись бабки  
и доверялись ей во всё.  
Теперь всё это мне так сладко,  
так дорого — я потрясён.

Потом мы у отца учились.  
Без наставленья, без угроз  
учил он. И мы все трудились  
по-настоящему, всерьёз.

Мать научила нас терпению,  
выносливости, красоте.  
И как учила: будто — пенью,  
а не работе, в годы те.

Великое вам всем спасибо,  
отец и мать и азанне!  
Вы в жизни помогли так сильно,  
вы стали с жизнью наравне!

*1980*

## ПРОЩАЛЬНОЕ

Мой старый отец —  
словно тихий ребёнок  
с пронзительным сердцем,  
обидчив,  
раним.  
Уходит тихонько от нас,  
незаметно,  
но неуклонно.  
Так жалко отца.  
Он ни богом,  
ни ангелом не храним.

Страдающ и юн дух его,  
но — в томлень.  
Томится.  
И сердце...  
Что сердце?  
Умеет оно говорить?  
Совсем беззащитен отец.  
Нет душе, уходя, уголенья.  
А думы?  
Что думы?  
Напрасны они, коль пора уходить.

Он выплакался  
или нет, дух его,  
но он грезил  
всегда о тепле человеческом  
и любви.

Он жил,  
он бежал от себя самого  
и он в этом разрезе  
мир видеть хотел, —  
без комедии и убийств.

Ничем не удержишь.  
Уходят.  
Хоть плачь.  
Навсегда и навечно.  
Прошли сновиденья,  
мечты неземные прошли.  
Пусть...  
Мой отец — это я,  
его первенец,  
внутренне,  
внешне  
весь вылитый он,  
безутешно скорбящий вдали...

*1980*

## ПОБЕГ

*Замыслил я побег...*

А.С. Пушкин

О рабство, рабство, гнёт духовный!  
Я, сын гармонии греховный,  
побег замыслил не секретно,  
замыслил за черту, которая запретна.

Я убегу, уж убежал я —  
давно живу, не разрешая  
себя насиловать ни власти,  
ни близким и родным, ни деве Насте.

Я — царь: живу один, проклятый;  
и хмырь, и мытарь вместе взятый.  
От рабства к новой я свободе  
удрал, пусть неизведанной, — не войте.

И не ругайте — не ругайтесь!  
Освободился — волю дайте  
творцу-поэту, волю, волю! —  
мятежен беспокойный дух живого.

О симпатические струны  
души моей! О как вам трудно,  
когда вороны чувств, не лебеди,  
затрагивают вас порой, колеблют.

Поэт — волшебство безграничное.  
И, независимые лично,  
орлом парят и поэтически —  
орлы, все знаем, — птицы, а не птички.

Хочу бороться, насмерть биться;  
желаю к истине пробиться —  
излить все мысли, ощущенья,  
пропев и песню грёз, и песню мщенья.

Борьба, движение и страсти,  
красоты, безобразья — здрасьте!  
Я вас всегда в виду имею,  
то накаляюсь страшно, то немею.

Предчувствую существованье  
и далей, и глубин — вниманье  
своё на них я направляя,  
в себе пророка смело выявляю.

Предсказываю-прорицаю,  
душой звучащей вижу, знаю:  
падёт империя; заглохнет  
и рабство, рабство наше — гнёт греховный.

*1980, февраль*

## К ТВОЕМУ ОГНЮ...

*Равилю Файзуллину*

Я к твоему огню пришёл,  
и тебя, и огонь прежними нашёл.  
Думал ли когда, что так приду —  
вдруг,  
о друг,  
как мальчик угодив в беду,  
потеряв и дыханье, и свет... всё, всё?!  
Думал ли, что кто-нибудь спасёт?!

Обнял ты меня, тысячелетний брат.  
И отстал, и отступился враг  
лютый...  
Смыл ты все следы  
ран, омыв волшебной своей речью,  
слух мой усладил усладой вечной;  
оживил ты дух и поднял ты  
вновь туда его, где прежде он парил,  
где прежде он парил — творил — царил.

Я к твоему огню пришёл,  
с угольком твоего огня ушёл.  
Жду тебя!  
К моему огню.  
Буду ждать.

... Ярче засияла моя звезда.

*1980*

\* \* \*

Эй, где ты, юность? Далеко-далече.  
Чтоб оценить минувшее всерьёз,  
бреду глухим я переулком к речке,  
где слышу лепет молодых берёз.

Друзьям я умным друг не подходящий —  
за дурака считают, свет не мил,  
мол, пыль пускал в глаза и дым чадящий,  
вон, поглядите, сколько надымил.

Терпеть такого — ну какая радость?  
Я сам себе не люб, друзья, ей-ей.  
Я всё кричал, а мне молчать бы надо  
и больше слушать, сразу б стал милей.

А мне бы вообще уgomониться,  
набраться гибкости в делах мирских,  
и кто б тогда решился усомниться  
в моём уме? Никто бы. Нет таких.

Мы все уйдём, все ляжем где-то рядом.  
Задумчивый стою я у плетня.  
Да. Надымил, а мне гореть бы надо  
и греть вас всех у своего огня...

*1980*

## ПО ПОВОДУ...

*Всё было в моей родословной: роман  
еврея с ливонской полячкой,  
и в русской деревне осевший цыган,  
пленённый степенной кержачкой.*

*И славной татарочкой, другом, женой  
мне сын ясноглазый дарован.*

*Мы блоковские скифы...*

Н. Беляев. «Казанская тетрадь»

Булгары мы, сувазы то есть, гунны,  
но изошрённое, чем прежде, мир подлунный,  
и нынче в нём живёт такой мастак —  
поэт Беляев. Русс. Цыган. Еврей. Поляк.  
Он днесь в татары записаться хочет.  
Уймёшь его? Увы. Криклив, как кочет.

1981



## МОСКОВСКОМУ ДРУГУ

*Нас — тьмы, и тьмы, и тьмы.*

А. Блок. «Скифы»

Сверчок Замоскворечья, русский брат,  
не пой ты о волках за печкой, как в раю,  
а пой о нас, нас пожалей, я буду рад  
узнать тебя в моём лесном краю.

Ты посмотри: народ мой тает, тает  
подспудно, незаметно, но из года в год,  
как богом проклятый... Над головой витает  
ассимиляция, к небытию ведёт.

Я жду тебя, и любишь ты природу,  
и мы вдвоём повоем, чёрт возьми,  
не по волкам, по моему народу,  
который был когда-то так велик.

Который был щитом для всех отличным.  
Да, обескровили орду, Батя — мы.  
Чуваши мы, болгары в нынешнем обличье,  
и нас, как видишь сам, теперь не тьмы и тьмы.

*1981*

\* \* \*

То, что вечно, да, — вечно;  
а что вечно: свет, мрак, бесконечность,  
дух, вселенная, слово?  
Что старо и что ново?  
Ново то ж, что и вечно, —  
жизнь и смерть, и любовь человека, конечно.  
Но бессмертен ли  
сам человек?  
Но бессмертна ль земля?  
Да и нет.

*1981*

\* \* \*

Как жизнь на белый свет пришла,  
возник тут и людской наш род.  
Тьма поколений здесь прошла,  
и сколько, боже, впрёдь пройдёт!

Во мгле тысячелетий я  
услышать ничего не смог,  
но угадал: века таят  
свет разума в тиши, как бог.

Свет разума! А без него  
что стало бы с тобою, мир?  
Ты б от раздора занемог,  
сожрал бы нас кровавый пир.

Шумят леса, сады, и — пусть,  
летают птицы — пусть летят.  
Проходим вместе с ними путь —  
они, как все мы, жить хотят.

Пусть кашу варит сатана,  
и ангел тоже, и змея.  
Съедим с охотой — задарма!  
Лишь пусть не сходит мир с ума  
и не летит к чертям земля.

*1981*

## Я СЛЫШУ ГОЛОСА...

Я слышу голоса, озвучен небосвод,  
я слышу чьи-то души, как когда-то  
в далёком детстве, бабочек приметив  
вокруг лампы; и сия примета  
жива поныне; прилетают души  
перед поминовением усопших,  
родных и близких, на войне погибших  
иль умерших естественною смертью.  
Мать каждому по ложке им кладёт —  
пусть кушают, пусть выпьют, а пред этим  
пусть побывают в бане, там попарят,  
хорошим веником берёзовым отхлещут,  
потрут им спины золотой мочалкой.  
Они незримы, но для нас все живы,  
и мать так ласково беседует, с любовью,  
со всеми с ними; мы сидим так тихо,  
что боязно вздохнуть, и... слышим голоса  
сестрёнки, бабушки и дедушки, и дяди  
и видим их на самом деле будто.  
Без дум и без печалей, без страданий, доли,  
они меж мёртвой гранью и живую  
нас посещают. И мы долго-долго  
не можем глаз сомкнуть, пронизываясь болью.  
Ночь... Мгла... И через мглу ко звёздам  
они летят, летят, и так — навечно...

*1981*

## ТОСКА ПО СЕСТРЕ

*Сестре Лизе в память о Марии*

Тоскую по сестре умершей. Хорошо я помню её, младенца, будучи ребёнком сам — трёхлетним. А умерла она зимой, был снег, мороз, — не летом; утасла, а могла не умереть, как позже это понял.

Отец на фронте с первых дней, а мать в окопах. Мы с бабушкой одни остались. Нет коровы. Нет и козы, но снились сны о молоке, о козах, — есть нечего; и мы день ото дня худы и нездоровы.

Рахит и воспаление лёгких. Рвота. Дистрофия. (Теперь бы так сказали.) И ржаная жвачка. И лебеда. Смерть, смерть в деревне — жуткая стихия. Гробы и гробики. И вести злые. Мрачно.

Я был как луч, сестра была как лучик. Погас так рано светлый, но во мне не гаснет. Ах, как кричала, задышалась, извелась вся. Лучше уж мне б всю боль её, я не был бы несчастней.

Тоскую я, душа тоскует по душе пресветлой, пречистой; и она, её душа, жива; я это вижу в луче звезды, росы, в глазах другой сестры приветливой, родившейся уже в иное время, к нынешнему ближе.

Я был как луч; я должен стать как солнце — всех ближних обогреть и обласкать стараться. Во мне ведь зов сестры, войной убитой. Месть её. Бороться я должен до конца с убийцей, драться, не сдаваться.

1981

\* \* \*

Есть правда, есть ложь,  
а что — между ними?  
Но есть, но не трожь —  
откажет, не примет.

А всё ж что же, что?  
Ведь слышу, не вижу.  
Мой слух, ты жесток,  
а зренье — невежа.

То — бог иль ничто.  
Быть кроме что может?  
Ах, лопнуть мне что ль,  
узнать кто поможет?

Беззвучно звеня,  
дрожит уже чётче.  
То — будто б земля,  
не небо, мне шепчет.

*1981*

\* \* \*

Ты не того страшись, что станешь тенью,  
что по небытию к подруге не пройдёшь,  
а бойся легкомыслия и лени  
души, неблагостного повторенья  
жестокостей её, пока живёшь.

Даль и мгновенье не сольются, если  
не смог ты слиться даже сам с собой.  
Мы вместе все обречены судьбой.  
Ты отнесись к нам справедливо, честно, —  
сольёмся в радости и горести с тобой.

А наша жизнь она и есть мгновенье.  
Все, все уйдём в «таинственную даль».  
Ты не того страшись, что станешь тенью,  
страшись жестокого неповторенья  
всего того, что оставлять так жаль.

Вода и суша, воздух и погода,  
деревья и зверьё, и небо, и земля,  
луна и звёзды, солнце, вся природа,  
мечта и быль всего людского рода  
боль, страх, и крик, и казнь нам всем сулят.

Собрат по бытию, в известный срок живущий  
со мною вместе на земле, постой,  
не уходи, побудь, не разлучайся, будь же  
желанным гостем хоть часок. В грядущем  
уж свидимся едва ли, милый мой...

*1981*

\* \* \*

Парадокс и печальный, и странный:  
шёл вперёд, в то же самое время  
шёл назад, непонятно и страшно  
быть должно, а по сути — обычно явление.

Ведь всё сделано так, чтоб пришли и ушли.  
На ребёнка ль гляжу иль на девушку юную,  
встрепенётся душа... Мать с отцом вот прошли...  
В горле ком... А страданье — неумное.

Ведь и быть так должно. Что природу смешить?  
Да и людям смешно. Философия зряшная.  
Ты иди и иди, но пройти не спеши,  
укрепи дух и душу... Всё просто. Не страшно.

*1981*



## МАМЕ

Да, мама, мы тебя не осрамили.  
За все за эти годы, день за днём,  
мы, сыновья твои, семь братьев, были  
дружны, шли верно, не грешны ни в чём.

Учились, жили и трудились честно.  
Был старший младшему опора и пример.  
Уж если тут и юность лет учесть, то  
держались просто молодцом, поверь.

Я, самый старший, так пыхтел, что вечно  
ходил в долгах, худой, судьбу на грош менял.  
Я этот путь прошёл небезуспешно.  
Ты в долгий путь благослови меня.

Пора пришла ли, не пришла ль, итожим  
уж кое-что, иного чувства нет.  
Ты говоришь: «Благословенье божье  
да осеняет до скончанья лет».

Не нужно божьего благословенья,  
мы твоего хотим, как откровенья, мать,  
оно одно душе отрада и спасенье,  
а заодно и божья благодать.

*1981*

\* \* \*

Прощаюсь с вами и прощаю  
высокомерье — гордецу,  
наивность — другу, недосуг  
всех называть вас, уезжая,  
но подлость подлецу прощать  
я не умею и не буду,  
его я, наглеца, забуду,  
наверно, только у хлыща,  
и то, наверно, на минуту...  
Худое ль забывать, лихое,  
иль не запоминать плохое?  
Нет, буду помнить, жив покуда.  
Что ж, не приём какой иль трюк,  
не притчу о Христе, о рае,  
как заповедь я повторяю,  
ещё, наверно, повторю:  
худое ль забывать, лихое,  
иль не запоминать плохое?

*1981*

## ДУМАЙ

Чувство накоплено в звуке,  
голос звучащий приветлив:  
думай о смерти всегда ты,  
но не так плоско и узко  
и не влезай сразу в петлю,  
стойким будь жизни солдатом.

Чтоб не терять время даром,  
жить полной жизнью, жить умно,  
всё в ней проведай, приметь ты.  
Думай о смерти всегда ты,  
чтобы... о смерти не думать,  
а пробиваться к бессмертью.

*1981*

## ПАХАРЬ

Время враждебно и непостижимо;  
странно и страшно с людьми поступает;  
с нами оно в кошки-мышки играет,  
исподволь рушит нас, но... тем мы живы.  
Катимся вниз по тропинам, не видя  
розность их и утращённость друг друга,  
в лоно обратно — в житейских потугах,  
не в раздражении и не в обиде.  
Ждёт невозвратное нас состоянье,  
тлен и распад. Как нелепо и дико,  
неумолимо. Поди упреди ты,  
сжать попытайся цветенье, сиянье,  
сжать в чудо-семя... И станешь ты богом, —  
станешь природою, матушкой нашей, —  
знать, потому пахарь весело пашет,  
поле обильным кропит своим потом,  
времени не поддаётся, заразе,  
силой упорной бессмертье обретший  
ныне, в грядущем, а также в прошедшем,  
слив воедино три времени сразу!

*1981*

## СТАРА-ПЛАНИНА

Брожу один в предгорье Стара-Планины  
в раздумьях о поэте и судьбе.  
Так глухо всё вокруг, а лист как в пламени,  
а осень песнь слагает о себе.

Совсем-совсем всё так, как в Саврашбуси:  
собачий лай, и небо, и земля,  
и огоньки... гляжу не нагляжусь я, —  
куда бежишь, ручей, в тиши журча-звения?

Бежать тебе, бежать и не остановиться.  
Бежит и у меня вот так же дней стезя.  
Куда бы ни бежать и как ни извиваться-витья, —  
в раздумье на глазах всегда слеза.

О, Стара-Планина, отрада Казанбая!  
Его отрада — радость и моя.  
О, милый край, Болгария родная,  
я тоже — кровь твоя и старая родня.

*1981*

## НАД СОБОЙ...

Я над собой смеюсь, не над тобой.  
Во мне сместилось всё, душа трепещет,  
тревога в ней, мне б прикоснуться веще  
к твоей душе, и я бы, боже мой,  
утешился и сразу возродился,  
но как звучит всё это глупо, дико.

Я не взлетел, упал, душа вернулась,  
и, покорив себя, надолго замерла.  
Я очищения хотел, любви, но участь  
вновь в дебри смуты загнала меня.  
Вновь неприкаян, озираюсь волком.  
Знать, оттого так горестно и горько.

*1981*

## ТАЙНА

В полной тишине горел восток,  
полная луна — ночное диво —  
поднялась, и гордость, и восторг  
принесла, и — счастья глоток,  
умиротворенье, я б сказал счастливо.

Льётся свет, весенний лунный свет.  
В роще скрылся ветерок бродячий.  
Свет и вечность. Вот в чём жизни цвет.  
В этот час скорбеть желанья нет  
над ничтожным, мелким, преходящим.

Царствуй, соловьём свищи, луна,  
озаряй мои печали, лиру,  
чтоб, величественна и сильна,  
радостно пропеть могла она  
о могущественной тайне мира.

*1981*

## ЛУННЫЙ СВЕТ

Свет лунный с неба тихо льётся,  
рассеянный нежный свет.  
Покой в душе, и сердце бьётся  
обрадованно в ответ.

У ночи светлой вестей немало,  
и ты уверенно иди  
туда, где что-то столь туманно  
мерещится впереди.

Искрится, дышит голубая  
весенняя тишина.  
Ты молод ещё, мечта любая  
сбыться должна.

Иди на волю, на воздух синий  
и будь пред лунным ликом чист,  
сорокалетний и красивый,  
возрадуйся, возвеселись!

*1981*



## ДОРОГА

*В. Распутину*

Тоскливо и печально жить в мире пустынном,  
но светоносном; вдаль идёт дорога  
незримо, по горизонтали, чинно;  
приходит голос-вера, а уходит — ропот  
через меня и сквозь меня так сильно,  
что голова трещит — моя ли, не чужая  
она, и правильно ль досталась  
тому, кто мыслью чувство разрушает,  
и говорит о них «не те» — устало.  
С собою слиться не могу я полно,  
почти всегда бываю в небыванье  
в себе, ищу себя, ищу и долго  
никак не нахожу — среди разочарований.  
Проходят голоса, проносятся и словно  
звучат меня оттуда нестерпимо.  
Я не готов; становится неловко;  
не совпадаю; зов — всё мимо, мимо...

*1981*

## РИТМЫ

То связь времён ли или связь субъекта  
с душою мира, — пагубная связь:  
печаль родной земли, премудрых человек,  
по всей земле, вокруг, смертельно разлилась.

Тоскует человек, а связь-то крепче, крепче.  
Чего тоскуешь ты, кого ты потерял?  
Куда бежишь, спеша? Что ищешь? Что за речи  
в душе? И отчего непрочен матерьял?

Как песнь души моей — игра теней и света,  
а песнь души, друзья, — игра мечты моей.  
Ты потерял себя, ищи себя ты в этом.  
Нашёл себя в них — стань же веселей.

Эй, свет и тень и звуки без названья,  
и звуки без звучанья, вдаль маня,  
вибрируйте сквозь всё вы, ритмы мирозданья,  
пронизывайте всё, звучите сквозь меня.

Любить людей творящих — тишину любить их,  
лишь вечно созиданье для земли людей.  
Любовь всегда нужна, её вы не губите,  
как даль сгубила ваших дальних лебедей.

*1981*

## МОИМ ДРУЗЬЯМ

Какая радость — быть спокойно-просветлённым  
и чувствовать, что на земле живёшь ты  
(земной отрезок твой) не суетно, достойно,  
не в западне страстей и барахла, не пошло,  
и путь твой пусть неясен иногда, но верен.  
Он сердцем, как маршрут, указан и проверен.

Какое горе человеку — потерять всё это,  
себя обманывать псевдовесельем тошным,  
уладами, довольствами, секретом  
угадывания в делах удач, успехов — тоже.  
Как это всё нас разрушает в корне.  
И потому должно бы быть и горем.

Но никогда почти того не понимаем,  
что, всё воспринимая внешне, фарисейски,  
мы тайно разлагаться продолжаем,  
и вовсе не святое-то ничьё семейство.  
И потому-то не с кем — что скрывать, не скрою, —  
поплакать на двоих одной слезою...

*1981*

\* \* \*

Счастливый грустным не бывает,  
а ты уныл, не весел вовсе,  
ты в декабре гадал о мае,  
а в мае загадал на осень.

Что в осени тебе прощальной?  
Куда уйти спешишь так рано?  
Не слишком ли многострадально  
всё это выглядит и странно?

Ведь были судьбы много горше.  
Ведь не везло куда почаще  
им всем, чем нам, их били больше, —  
они дрались, в том видя счастье.

Мы смертны, но бессмертны будем,  
когда, себя создав, ворвёмся  
в ту область жизни, где добудем  
алмазы духа, слабость сбросим.

Ты плачь не о себе, а плачь ты,  
уж коль не обо всём народе,  
то хоть о близких людях часто,  
не будь без племени и рода.

Пока живём, мы тем и живы,  
что дышим все свободно, вольно,  
и жизни рады тем, что дивно  
умеет слышать душу болью.

*1981*

## БЛАГОСЛОВЕНИЕ

Если рабство — лучший вид свободы,  
ползание есть лучший вид полёта,  
ненависть есть лучший вид любви,  
смерть есть жизни нашей лучший вид,  
если есть проблемы поважней, чем мир,  
лучший вид его — война, и если  
голод сытости есть лучший вид,  
холод — лучший вид тепла, а голость —  
лучший вид одежды, то что ж, господа,  
будьте прокляты вы в самом лучшем смысле,  
пусть же будет проклят ваш весь род собачий  
в семьдесят колен и далее, навечно;  
именем всевышней мамы — проклинаяю,  
именем всевышнего, в которого мать верит,  
именем земли родной, её травинки каждой,  
именем дерьма, которое в земле,  
проклинаяю вас, — оно в мильон раз лучше;  
кровью, мозгом, всем хребтом взываю:  
пропадите пропадом! И это...  
это вам моё благословенье.

*1981*

\* \* \*

Куда же вы, друзья, друзья,  
до коих пор терять вас безоглядно?  
Мольбой бесстрастной удержать вас вряд ли;  
без никого пусть буду я.

Легко я с вами расстаюсь.  
Я не скажу вам лучшее то слово,  
которое, быть может, и не ново,  
но в мгле дорог снимает грусть.

Я не скажу: «мой первый друг»,  
«мой друг бесценный»; это мне же вредно.  
Вам недосуг о том подумать крепко.  
Окаменел ваш смертный дух.

Куда вам до понятия «смерть».  
И до понятия «жизнь» вам не добратся.  
Жуки иронии, над чем смеётесь, братцы.  
Не изгаляйтесь! Стоп! Не сметь!

Дела и сны... Всё, всё пройдёт.  
И будет день, выть волком серым будешь.  
Иронию свою, как и меня, забудешь,  
тащась назад, а не вперёд.

Останешься один, как столб.  
И я, как перст, один в миру останусь,  
не богу в рай, в ад сатане достанусь,  
как и вы все, друзья, а что?

*1981*

\* \* \*

*В. Личутину*

Я в деревне. Весна. Полночь, полная  
настороженной тишины.  
Голубое сияние вольное  
заискрилось на дали и сны.

Мягкий свет заструился от тайного,  
от вселенского фонаря.  
Мягкий, шёлковый, но и отчаянно  
холодящий, как звень января.

Проникающий в самую душу...  
Свет, эй, свет, в голове пробуди  
ты хмельное кружение идущим  
к очищенью и к исповеди.

Сердце чистое ты сотвори во мне,  
и дух правый ты обнови,  
дай ты к ближнему нежность. Что именно?  
Много жалости и любви.

Жалость полную. Помыслы чистые.  
Совесь, жги, очищенья венец,  
будоражь наши души так истово,  
чтоб узреть нам, каков наш конец.

Жалость, как и любовь, повторяется,  
повторяются свет и весна.  
Доброта и добро забываются.  
Почему и зачем? Нам ли знать!

Быстротечно добро, быстротечно,  
но мы всё же творим, всё ж творим  
и продолжим творить его вечно;  
и спасём нашу честь, сохраним...

*1981*

\* \* \*

Огонь танцует, небосвод  
звенит, поёт вода,  
а появился человек  
из... ниоткуда. Да!

Соткался он из воздуха,  
огня и света здесь  
святым и умудрённым уж  
и закалённым весь.

В душе нерастрожено  
все три стихии спят.  
Неясные мечтания  
чуть сердце бережат.

Бездумен, непорочен он,  
свободен, радостен,  
а был угрюмым, желчным и  
противным между тем.

В стихии погрузившись, все  
скорей нырнуть хотят  
в самих себя; грустя, томясь,  
находят там... себя.

*1981*



\* \* \*

Лихорадочно живу.  
Возбуждённый до предела,  
не пойму, кого зову  
и к кому имею дело.

Но меж нами тайна есть.  
Гнёт меня, гнёт осторожно  
тёмный лик иль просто рожа  
колдовская — как болезнь.

И разрыв в ней, и сближенье,  
и, как наказание, страх.  
В ненасытной этой тени  
радость превратится в прах.

Страсть, огонь, боренья, слёзы  
в прахе этом не живут.  
Слышу звон цепей, угрозы.  
Правят мною мрак и жуть.

Плохо мне, ой, плохо, мама, —  
неужель переломлюсь?  
Рок ли воспарил над нами?  
Сгину, но... не покорюсь!

*1981*

\* \* \*

Я верую в то, во что верю,  
а верю я в правду и справедливость.  
Кто делает правду, тот праведен. Лживый  
подобен предателю, зверю,  
безжалостен и неустойчив,  
не только творит беззаконье,  
возводит в закон его; бойче  
хапуг и воров мы не помним  
чем он, лжесвятой. Он не только  
тебя с потрохами продаст, мать родную,  
любовь, клятву, веру, надежду любую  
предаст, и раздумывать станет недолго.  
Он умный, но ум у него без души.  
Такой ради славы и власти и денег  
какую угодно и шкуру наденет,  
всех, кто поперёк, будет рвать и душисть.  
И будет глумиться, в веселии, в силе,  
он тайно над правдой и верой твоею,  
считая тебя дураком, простофилей,  
мечтая возвыситься больше, сильнее.  
Я помню о матери, как о святыне.  
Мать слово священное и негасимое,  
единственное и спасительное.  
Но помню вседневно я и о гордыне.  
Немало высоких и славных, но правда,  
как мать, всех славнее и выше, как диво,  
как высшая что ни на есть справедливость.  
Я верую в правду, живу и умру правды ради.

1981

\* \* \*

Вечер тёмн и душен. Звезда удивлённо  
замигала. Зарницы тревожны, легки.  
Светлой грусти, добра пожелаю влюблённым,  
полюбившим и вечер, и берег реки.

О, вечерние тени, о, ночные виденья!  
Не придумал я вас, не безумный вы сон;  
ясно вижу, полны острой боли, смятенья  
и высот неприступных вы, горних высот.

Вас теперь никогда не догнать, не достигнуть.  
Сердцем плачу, в душе и мечта, и печаль.  
И сгорают слова, и заносятся тиной.  
Ты не скажешь, река, как жизнь снова начать?

Убегаешь ты вдаль, и светла и туманна,  
вслед машу я небрежно усталой рукой.  
Я живу свою жизнь без любви, но желанно,  
как счастливый джигит, обделённый судьбой.

И от счастья такого боль струится мне в темень.  
Проживать без любви можно, жить вот — никак.  
Как последняя чайка, надежда ушла-улетела.  
А река всё бежит, шелестят её думы в веках.

*1981*

## ГЛУБИНЫ

Всё идём и идём мы,  
всё душою бунтуем,  
в светлом мире иль в тёмном  
все глубины мы чуем.

Ты пришёл, и ушёл ты,  
в вечность канул бесследно.  
И теперь нивы жёлты,  
реки сини и небо.

И потом будет так же.  
Не сказал ты об этом,  
думал: кинешься, скажешь;  
не успел: песня спета.

Ну а мы в мире бренном  
душу жгли, чисто жили.  
То, что чисто, нетленно.  
Мы глубины любили.

И в какие глубины  
мысли, памяти, времени,  
нашей с вами судьбины  
и характера верили!

*1981*

\* \* \*

Не продал душу, отдал я,  
уверовав в тебя,  
и стал как верноподданный,  
свет дружбы возлюбя.  
А ты, еким романович,  
как с нею поступил?  
Обман сплошной и раны лишь  
в неё ты положил.

Друг дорогой, не ёрничай,  
не вей ты словеса,  
не смейся — не чаёвничать  
пришёл, и пыль в глаза,  
как некому сородичу,  
ты не пускай, слезай  
с любимого конька,  
учти: я добр пока.

*1981*

## НАДЕЖДА

Хватит мучиться и мучить.  
Успокойте дух и душу,  
укрепите волю лучше,  
воля слёзы все потушит.

Ах, мечтания-мечтанья,  
как ни слабы вы, туманны,  
благородней, чем метанья  
павших духом, как ни странно.

На душе у нас не часто  
высоко, светло бывает.  
Где ты, радость? Где ты, счастье?  
Дух надежды где витает?

А в надежде всё спасенье.  
В дух разумный надо верить, —  
в свет слиянья, единенья  
и — доверья, и — доверья.

И так дружно жить, чтоб только  
память добрая осталась,  
шла б по чередѣ потомков,  
никогда бы не кончалась.

*1981*

## ТРУС

Я боюсь, всего боюся:  
не накажут ли меня,  
не засудят, а война  
вдруг не вспыхнет, а Маруся  
не обманет; всё боюся,  
ведь обман — какой позор!  
Не подкатит голод, мор?  
Не зарежут, не задавят?  
Иль ещё куда отправят?  
Ох, боюсь: детишек тьма  
будет (а денег нет)  
иль, наоборот, не будет.  
Вот насколько путь мой труден  
и опасен: что — тюрьма,  
жизни осень и зима?  
Что — холера и инфаркт  
иль другой такой же факт?!  
Но куда, куда гожусь я,  
я всего, всего боюся,  
вижу стон и всхлип во сне,  
одиночество и смерть.  
Потому и жизнь свою  
и жалею, и люблю.  
Потому и жизнь чужую,  
как собака, насквозь чую.  
Да, жалею я людей  
и люблю — такой злодей.  
Как всё это обозначить?  
Как к решению прийти?

Уж бояться, чем собачить,  
чем себя же и учить  
не бояться ничего —  
от такого жди всего:  
для него что бог, что чёрт,  
в прорву всё и утечёт.  
Лучше уж мне подыхать,  
чем всем миром понукать.  
Ох, боюсь, боюсь я, братцы,  
безо страха вдруг остаться, —  
не накажут ли меня,  
не накроет ли война?!

*1981*



## СПАСУ

Не смогли согнуть, спасибо,  
не согнули и года.  
Не боюсь я вас, я сильный  
и святой, как никогда.  
Вы, враги мои худые,  
вы, завистники родные,  
вам меня не покорить,  
вам меня не победить!  
Только время успокоит,  
только время упокоит  
да предаст забвенью, дуры,  
если, на мою беду, я  
дух растрочу, бездуховным  
стану; как кастрат, бесплодным  
в смысле чувств и мыслей; прахом  
лягу; будет полный крах,  
но — вне глупости (вне страха),  
ибо крах страшней, чем страх.  
Пусть коснуться не дано нам  
времени, всмотреться, но  
обгонять его по нормам  
научились мы давно.  
Вот и я не сплю, стараюсь  
время сжать, судьбу кляня,  
и определить пытаюсь  
в нём я самого себя,  
с плачем время чтоб взмолилось...  
И спасу вас, господа, —  
рядом с именем моим вас  
упомянут иногда!

*1981*

## КРИТИКУ

Чур, критик,  
ведь скажешь же тоже,  
да ладно, ну что, охолонь,  
бог это ж есть образ,  
как чёрт же,  
художественный,  
как пегас,  
славный конь.  
Брось бога, как чёрта, бояться.  
Будь критиком, а не паяцем,  
ведь ты ж не гороховый шут.  
К пегасу так близко  
не подходи,  
он может лягнуть.  
Обходи...

*1981*

## ОДНОЙ ЗНАКОМОЙ

Честь и слава поющим,  
но тебя хаю я.  
Ты, как кошка, худюща,  
так и песня твоя.

Всю корёжит (так надо?)  
да ломает (эх ты!),  
и ни ряда, ни лада, —  
никакой красоты.

Душа стынет, мне холодно,  
и терпеть нету сил.  
Не кричи худым голосом,  
волоснёй не тряси.

Убери штукатурку  
и умойся, прошу.  
От подобной культуры  
гул в висках, в сердце шум.

Хватит выть и задорить,  
хватит задом трясти.  
Чепуховину с вздором  
хватит в массы нести.

До свиданья, гулёна,  
нет, прощай навсегда.  
Пьянь... дойдёшь ли до дома?  
Ну и двигай тогда.

*1981*

\* \* \*

До боли люблю стариков!  
Дружу с ними. Мне хорошо  
среди них. Они мудры, я в том  
уверен, тихи и с душой.

Все, выйдя из божьих ворот,  
по жизни пошли, как хотят.  
Казалось, что рвутся вперёд,  
ну а получилось — назад.

Окончил свой путь караван.  
Кто жив, все здесь до одного.  
Во всём откровенны, — скрывать  
не будешь, коль мудр, ничего.

Ведь к тем же воротам пришли,  
вернулись на круги своя.  
Измерили крутость земли,  
хлебнули всего, не таясь.

Люблю стариков (и старух)  
ещё и за то, что в обмен  
старик уж не сглазит подруг,  
а в старой не та уж кармен...

*1981*

## ПРЕДСКАЗАНИЕ

Я так тебе скажу чуть старомодно:  
ты светом разума не одарён,  
тебе ли печься о судьбе народной —  
забыл ты мать и кой о чём другом.

Забыл, что лжив, недобр и нечестив ты,  
что и у нас у каждого есть мать.  
Тобою правят низкие инстинкты,  
которые не хочешь обуздать.

Они съедят тебя — мирские блага:  
и власть, и слава, и сберкнижек хмарь,  
за бабой баба, водка, пиво, брага,  
коньяк... Несчастливая ты, в общем, тварь.

И потому — ничто, пустое место,  
на ровном месте шишка, вот и всё.  
Ты не пойдёшь на свет, не из такого теста,  
и не достигнешь истинных высот.

Обидно, жаль — уходит соплеменник  
от общей цели, как из бытия.  
Обретшие свет божества нетленны.  
Я плачу, будто ты — не ты, а я.

*1981*

## ПРЕДЧУВСТВИЕ

Предсказать ясный день — чего проще,  
предскажи-ка такое вот вдруг:  
словно б ты всё ещё среди прочих,  
но тебя уже нет на миру.

К катастрофе идёшь так упрямо,  
что никто и не лезет с мольбой.  
Словно к смерти влечение, как пламя,  
сжигает тебя с головой.

Собран ты, нацелён, слепо смотришь  
на себя, обречённый уйти,  
как бы ни разрывался, не сможешь  
на ту сторону выход найти.

Лицо благостно, глаз выраженье  
постороннее, взгляд как чужой.  
Не спасёт никакое решенье.  
Жуть какая и страх, боже мой!

Неужель жизнь моя на изгибе?  
Неужели вот так и пропасть?  
Неужели предчувствую гибель?  
Наваждение, ересь, напасть...

*1981*

## СНЕГ

Вот снег пошёл, кругом как тихо, боже!  
Полёт снежинок слышу, белых искр.  
Их свет никто остановить не может,  
заполонил он радостью весь мир.

Душа с твоей опять слилась в тиши.  
Да, это — правда. А ты ей не рада?  
Так это точно! Мне другой не надо.  
И я, и ты во власти снегопада,  
и оба ну безумно хороши!

Вникаю в смысл. И что ж? Я прав. Дары  
природы, как всегда, случайны:  
в твоей душе опять нашлись мне тайны,  
поправ все правила игры.

*1981*

\* \* \*

Тихий звук, тонкий звук  
в мире семизвучном.  
В звуках запахи живут  
радостно, нескучно.

В запахе мы слышим звук  
в мире семицветном.  
А цвета куда зовут  
весело, приветно?

Ночью дальний лай собак  
кажется тюльпаном.  
Пахнет? Да! А как табак?  
Чем он не сопрано?

Чем же пахнешь ты, печаль?  
Болью иль свободой?  
А свобода чем? А — даль?  
А как — мать-природа?

Жизнь чем пахнет, как звучит,  
цвет какой имеет?  
Чтоб сказать, сто лет я жить  
должен, и не менее...

*1981*



## НАИТИЕ

И чую, и слышу,  
идя сам в себе  
по лесам, по полям, я,  
то — песня о времени гуннском и скифском,  
о нынешнем тоже,  
и — пламя;  
то — облако, тихие снега, туманность,  
звезда Тенгрихана.  
Во всё проникает свет взгляда,  
свет памяти, разума,  
свет тишины,  
свет звука,  
свет музыки —  
в звук и в движенье, дыханье,  
во все времена,  
во все яви и сны.  
Языческий свет первозданный!  
Я жив!  
Я живу!  
Никогда не умру я —  
и после того,  
как уж стану ни звук, ни дыханье  
и ни движенье, —  
свет духа даруя...

*1981*

## СОН

Не играйте в людей, будьте ими,  
сквозь мрак пробирайтесь ко свету.  
Вы слышны голосами,  
вы зримы оттенками,  
а где же ваш подлинный голос,  
а где же ваш подлинный цвет,  
самый чистый и светлый?  
Я люблю этот цвет, этот голос,  
твою тишину, дорогая,  
не нарушенную тем, что где-то на дне  
её сделала видимой, слышимой.  
Зыбь и волны другой тишины —  
не очистят мне душу они.  
И люблю потому я и знаю:  
всегда для меня  
всё нетронутою  
сохранится твоя тишина.  
И всё — сон, словно сон,  
снящийся сну другому, она.  
Я тебе говорю: будь внимательна,  
жди и борись, просыпайся!  
Для тебя расставанье со мной —  
горе-мысль, отблеск горя, не горе само.  
Для тебя смерть моя, мой уход —  
растворенье в природе.  
А для мамы моей —  
нескончаемый сон, пустота, безутешность.  
... Не играй в человека, им будь,  
пробирайся сквозь сон к бденью, к бденью!

*1981*

## СВЕТ ДРУЖБЫ

Стоял я в зареве заката  
в печали, в сумерках души;  
сочувствовал тебе, как брату,  
с душой возвышенной — в тиши.

Сквозь сумрак вечера увидел:  
взошла звезда, теплясь вдали.  
Судьба ли, друг тебя обидел —  
свет дружбы не ушёл с земли.

Свет дружбы высветил метанья,  
предстал, как ясная слеза.  
Тебя дороже не видал я  
людей, мой свет, моя звезда.

Люблю прекрасных, сильных, дружных...  
В ночи, в летании волшбы,  
услышу шорох крыл воздушных.  
Яснее станет лик судьбы.

Не за секундою конечной  
в удачу обернётся даль,  
мгновенье превратится в вечность,  
а в свет надежды — скорбь, печаль...

*1981*

## ВЕСНОЙ

Луна смеялась, звёзды пели.  
Кругом давно уж ночь была.  
Луна цвела, я оробело  
на диск глядел. Луна плыла,  
то появляясь, то скрываясь,  
как чайка — странница морей,  
как звонкое очарованье  
далёкой юности моей,  
как тихое напоминанье  
о глухости осенних дней.  
Плыла, и стало мне теплей.  
Тебя одну лишь вспоминал я.  
Я до сих пор тебя люблю.  
Я до сих пор себя ловлю  
на мысли: это не луна  
светила ночью, а она  
русалкою на дне купалась,  
беззвучно пела над водой.  
И мне казалось, мне казалось:  
я всё такой же молодой!

*1981*

## ЦВЕТОЧНАЯ ПОЛЯНА

*Тамаре*

От твоей улыбки расцветал я.  
И, готовый радостно запеть,  
неуклюжим чудищем казался  
в сказке нашей общей — сам себе.

Меж цветов ты, юная, стояла  
в платье белом — лебедю сродни.  
Ворот, рукава, подол — в узорах.  
Я тебя с царевною сравнил.

Гомон, свист и щебет в листьях, травах,  
залитых весёлым светлым днём.  
Бабочки, букашки, птички дружно  
наслаждались солнечным теплом.

Солнечным теплом вошла ты в память.  
Верил: то тепло согреет в срок  
мне печаль закатных лет — и всё ж я  
юности мечту не уберёг.

... Жизнь течёт из этих дней далёких  
к берегам забвенья, что — вдали.  
И её стремнины ловят отсвет  
солнца над поляной — светлый лик...

*1981*

## ЗАВИСТЬ

Случайно как-то похвалил  
меня при всех поэт народный,  
мелькнула сразу же вдали  
над другом зависть — дьявол чёрный.

Я видел: он вошёл в него,  
всё в нём взорвал, переиначил  
и не оставил ничего —  
друг выпивать, чудачить начал.

Пришлось ему себя предать,  
потом меня, потом сто женщин  
и сто мужчин, отца и мать,  
а зависти не стало меньше.

С того безрадостного дня  
страстей разгул друзей халтурных  
не утихал вокруг меня  
да и вокруг литературы.

Но реки не вернулись вспять.  
Шумят деревья, свищут птицы.  
И я не перестал дышать —  
мой древний род не прекратился.

Был запрещён, потом сожжён  
мой сборничек — стихов жилище,  
с ума я всё же не сошёл,  
здоров стоял над пепелищем.

С поста уйти был принуждён,  
навек разлучён с любимой,  
но для того ли я рождён,  
чтоб сгинуть в прах непоправимо?!

Кто сколько грязи бы не лил,  
не спрячусь в логово, не дрогну,  
уж не поэт, а глас народный  
чтоб не случайно похвалил.

*1981*

## БОЛЬ

*Памяти Алексея Толстого*

Всё и слышу, и вижу. Я в мире  
без него сирота, но не розно  
прохожу... В дом приду. А в квартире  
друга нет. И не будет. Я вздрогну.

Будто кто-то присутствует,  
вздохи, стоны и всхлипы  
не истаивают; чувствую:  
наваждение липнет.

Время до той поры протекало  
и надёжно, и ровно, а в горести  
располовинилось, в душу вкралось  
ощущение пропасти.

Заскорбело внутри и всё ссохлось.  
Иссушило слезу, плакать нечем.  
Что в провальной-то темени зоркость?  
Что слеза? И к чему этот вечер?

Друг любимый и неповторимый,  
в небе звёздочка ли замерцала,  
я зову, я шепчу твоё имя,  
и ищу тебя там, в звёздной дали...

*1981*



## НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ

*Nichts gehört uns*

R.M. Rilke

Не принадлежит ничего нам; зима,  
весна, лето, осень, леса и луга,  
луна, солнце, звёзды и облака,  
земляк или родич, отец или мать —  
не принадлежит нам; подруга моя,  
мы сами — не мы; не принадлежит —  
и всё-таки наше... И прочь всё бежит:  
всё — вечное бегство из бытия.  
Бежит, отступаясь... Родился едва —  
и к смерти торопишься от рождества,  
за годом — десяток, там — третий, восьмой...  
Спешешь и не волен ты в спешке самой.  
Откуда ж весёлым и нежным быть мне?  
Не принадлежит... Но душа в нас не зря!  
Да кто ж мы? Ах, голос души в глубине,  
да век молодой, да жизни заря,  
да ты, дорогая, — забудем же грусть,  
любя пока любится; радует пусть  
нас осень и лето, зима и весна,  
цветение, звёзды, солнце, луна,  
семья и соседи, и мать, и отец —  
забудем, что этому будет конец...

*1981*

\* \* \*

Неизъяснимо тихо на душе,  
как будто все ушли, и в доме — никого,  
как будто надо дом продать иль сжечь.  
Вам ничего, а дому — каково?

Неизъяснимо пусто на душе,  
как будто все ушли, и в мире — никого,  
как будто надо мир взорвать и сжечь.  
Вам ничего, а миру — каково?

Неизъяснимо грустно на душе,  
как будто все пришли, а дом исчез,  
как будто надо дом иметь, а шеф  
не строит новый, — совесть где и честь?

Неизъяснимо больно на душе,  
как будто все пришли, а мир исчез,  
как будто надо мир иметь, а шеф  
не строит новый, — совесть где и честь?

Неизъяснимо страшно на душе.  
А вы-то что? Зачем вы все ушли?  
Где был ваш разум, собственный ваш шеф?  
... Уйдя, вы не вернулись, не смогли.

*1982*

\* \* \*

Тихие звёзды, весенняя ночь.  
Глухо мерещится дальняя даль.  
Что же ты, радость, торопишься прочь?  
Где же ты, радость, где ты, печаль?

Юное личико, пристальный взгляд —  
прямо в лицо мне среди темноты;  
дрогнул мой дух, а глаза всё горят,  
жутко мне, страшно, среди немоты.

Это не рожица чья-то, а лик,  
облик, забытый давно, глянул вдруг.  
И — так внезапно. Я вздрогнул и сник,  
да, дорогой, сник я сердцем, мой друг.

Смотрит и смотрит, пронзая насквозь.  
Вспомнить никак я его не могу.  
Давит тревога. Мертво. На авось  
как бы живу. И я согнут в дугу.

Да... но вот если встряхнуться б душой,  
свежей струёй садануть под неё.  
Сила моя, где ты, где, бог ты мой,  
чувство моё, что молчишь, не поёшь?

Где же ты, радость, и где ты, печаль?  
Смертное эхо, поди-ка ты прочь!  
Вспомнило сердце! Приблизилась даль!  
Вспыхнула радость в весеннюю ночь.

1982

\* \* \*

Тебя подростком полюбил.  
Казалось, свет, любовь — бескрайность,  
бескрайность — силы; показалось —  
навечно хватит этих сил.

И думать я не мог тогда,  
что юность есть первоначальность,  
и что несбыточна мечта,  
невыполнимо обещанье.

Прошла любовь, забылся свет,  
и — обещанье, святость слова.  
Но у любви ведь смерти нет,  
в душе она возникла снова.

Исчезнет ли любовь опять,  
никто сказать не может честно.  
Моя не рождена пропасть,  
она исчезнет — я исчезну.

Я разве сам себе фашист?  
Пока я сам себе — начальник.  
Первоначальна наша жизнь,  
ну и любовь... первоначальна.

Допустим, но как быть судьбе?  
Запеть ли снова аллилуйя?  
Ведь вовсе не тебя люблю я,  
люблю свою любовь к тебе.

Я знаю горечь похорон,  
и потому любовь люблю я —  
любовь и свет пусть торжествуют, —  
не племя галок и ворон.

Чудес так мало на миру,  
одно в душе, как вихрь, несётся:  
люблю тебя, люблю весь свет я,  
пока люблю, я не умру!

*1982*

\* \* \*

Давно за полночь. Дождь стучит  
в двойные окна всё упорней.  
Пора глухая. Снег. Дожди.  
Тревожно, зябко в эту пору.

И пусто. Не могу заснуть.  
Последняя надежда гаснет.  
Воспоминанья давят грудь.  
Незванные приходят гости.

Смятенье, горе, боль и страх  
вокруг меня садятся рядом  
и у потухшего костра  
хохочут — страшно мраку рады.

Дрожу, не в силах отогнать.  
К тому ж ужасно воев ветер,  
крадётся кто-то у окна.  
Я, как в гробу, один на свете.

Не знаю, как отвести беду.  
Ошеломляюще противно  
лежать в таком ночном аду.  
Как встать и от всего уйти мне?

Но от себя куда уйдёшь?  
Начало дивное, о, где ты?  
Где чувств иных и мыслей мощь?  
Где молодость, её надежды?

Я всматриваюсь в темноту,  
горю в борениях упорных,  
ищу её, мою звезду,  
найду её, всё в жизни в пору...

1982

\* \* \*

Пойми меня, и я пойму...  
Не горе, не беда,  
что есть конец всегда всему,  
и это — навсегда.

Я был как месяц молодой,  
ты как звезда была,  
шептала: «Милый мой, родной»,  
и в выси ты звала.

И мчались мы по нашим дням  
в той вышней вышине,  
где низость невозможно знать  
никак — тебе и мне.

Но нас заставили упасть.  
Теперь пойми хоть как:  
откуда эта вся напасть  
и смертная тоска.

Кто виноват: я или ты,  
иль оба хороши?  
Разгромлен я, разрушен тыл,  
но надо как-то жить.

И жить мне надо в стороне.  
Прости, мой друг, прощай  
и, разрывая сердце мне,  
родным не называй.

*1982*

## НЕТ ЗВЕЗДЫ

На пути нет моём ни одной даже тусклой звезды.  
Безнадёжно и робко гляжу и блуждаю в потёмках.  
Как же так? Было небо, был я, были звёзды; как дым,  
всё ушло неизвестно куда; стонешь, ветер, о чём ты?

Неужели я умер совсем и не встану уже,  
не пройдусь по весёлой тропинке туда и обратно?  
А хотелось прожить жизнь особенную,  
а не жизнь вообще, —  
обретая, теряя, ища, ошибаясь стократно,

и имея звезду... Но вот на небосклоне моём  
ни одной даже тусклой звезды. Я подавлен.  
Не стони, ветер времени, стой, знаешь сам, дело в том,  
что мы все были молоды, юны недавно.

А теперь... Что поделаешь, были да сплыли, как все.  
То есть как — были да сплыли, когда на душе —  
перемена?  
Есть звезда, где-то есть; чую, слышу её яркий свет!  
Он придёт, через множество лет, но придёт непременно!

*1982*



## БЕЛЫЕ ДНИ

Белые дни, от инея белые,  
белою тенью мелькают, беспечные;  
их вереница, как белые лебеди,  
с криком немым отлетает; я — в трепете.

Что вслед сказать — совершенно не знаю,  
вместе со стаей летаю и маюсь.  
Что же душа? В ней метельно, в ней вьюжно.  
Ей от мгновений тех белых недужно.

Сердце надсадно, испуганно бьётся.  
Стая летит, чёрным вороном вьётся.  
Что же случилось? В тревоге смертельной я,  
белые дни, о дни белые, белые?!

Савана нету у нас, нету; слава нам;  
мы хоронили, хороним без савана.  
Что же тогда, что же так сатанеет он —  
отсвет его, отсвет савана этого?

Лезет в глаза белым дымом мне, в душу.  
Что же с того? Лезет? Пусть. Мир не рушится.  
Белые дни; ну и что же что белые;  
пусть себе мчатся, спешат, очумелые.

*1982*

\* \* \*

Я не о том, что солнце светит,  
и не о том, что жизнь — стезя,  
а я о том, что все в ответе  
за всех, не зная того нельзя.

Мне равнодушие — как удушье,  
и с ним не проживу ни дня,  
кричу о нём не докричусь я,  
хоть я — за вас, вы — за меня;

хоть все мы быстро отцветаем,  
уходим с круга навсегда,  
хоть я дороже вас не знаю  
буквально никого, да, да;

но дорогим для вас не стану, —  
не воздух, свет, тепло, не вещь, —  
один из вас я, тихо, тайно  
вас любящий, продрогший весь.

Мне холодно, где ваше сердце?  
Я обогреюсь и вздохну.  
... Вот я чего боюсь на свете,  
о чём страдаю и скорблю.

*1982*

## ПО ЖИЗНИ

Как шальной, огорошенно  
я по жизни бегу.  
Что же было хорошего  
у меня на веку?

Снег был, свет, воздух синий,  
и вода, и трава,  
звон осины осенний —  
золотая листва.

Слава требует риска.  
Жизнь в бесславье верней.  
Кроме ругани, крика  
что запомнил я в ней?

Я запомнил слезинку  
у цветка на заре,  
у ребёнка росинку  
на щеке во дворе.

Жизнь промчится, затихнет,  
оборвётся струной.  
Дождик частый нависнет  
над родной стороной.

Надо мной будут литься  
тихо слёзы дождя.  
Вне меня будет биться  
сердце мира, друзья.

К жизни нету претензий.  
И готов я сполна  
при таком интересе  
всё отдать, всё понять.

Не виню, не ругаю,  
пусть ругают меня,  
всё равно — я считаю —  
удалась жизнь моя.

*1982*

\* \* \*

О милые, дальние дали,  
лежащая в тьме тишина,  
в смирении и в печали  
невестится ваша весна.

Весенние сумерки лунные  
грустят, но грустить не велят.  
Из сумерек девушка юная  
глядит и глядит на меня.

И сумрак, и облик не тают.  
Пусть годы вернуть не дано,  
я радостно грежу, плутаю  
в пределах, где нас нет давно.

И пусть сей обман дольше длится,  
пусть радуется сердце и грудь,  
и вдруг золотой вереницей  
покажется жизненный путь.

*1982*

\* \* \*

Бейте, жизни удары,  
вы не жалейте меня.  
Песнью любви, как гитара,  
муза, отвечай, маня.

Очень высоко пойдём мы,  
и откуда-то с вышины  
взглянем на себя в потомках —  
доброй воли полны.

А теперь вот посмотреть бы  
взглядом, полным любви,  
на твой вид, горька редька,  
и на твой, сладка ягода, вид.

На поля и луга, и небо,  
речку, где стая ив,  
насмотреться до чёртиков мне бы,  
душу до страсти распалив.

Люди хорошие, душу  
дайте и впредь иметь.  
Я пришёл вас досыта слушать,  
досыта на вас смотреть.

Всюду проникнуть, постигнуть  
этого мира свет.  
Рассудить, осветить, не сгинуть  
в мраке всемирных бед.

Пусть удары, ну что ж — удары...  
Внове ли их выносить?  
Я уверен, нам жизнь подарит  
столько сил, что жить нам и жить!

*1982*

## ЙЫВАН БАТОР

### *Сказка*

Прилюдно закопать — не очень умно.  
Куда удобней втихаря унять.  
И между тем я жил, ещё не умер,  
но ты уже похоронил меня.

Ты уверял, что был невыносим я,  
что все шарахались от слов моих.  
Да, я орал, завидя в этом силу,  
да, бил таких, как ты, чурался их.

Теперь я умер. Свергли. Задушили.  
Меня уж нет. Давно тобой забыт.  
Но подыхал я долго, как двужильный,  
и... не подох, а встал, каким я был.

И воссиял, как прежде. Аж ты ахнул!  
Вопрос «травить» — опять повестка дня.  
Я жив! Но жизнь такая смертью пахнет,  
она убьёт, совсем убьёт меня.

Сожжёт. Но пепел мой стучаться будет  
в сердца людей, и вновь воскресну я.  
А ты, пророк, томясь в словесном блюде,  
живой уж мёртв, живая смерть моя.

*1982*

## ОГОНЬКИ

Голубое спасибо,  
огоньки, вы прекрасны.  
Где же свет негасимый?  
Он уходит, он гаснет.

В суеверии тайном  
прозябать — безуспешно.  
Не возвысит сияньем  
мысль мою, не утешит.

Сколько раз возгорал он;  
сколько раз безнадёжно  
в ожиданьи упрямом  
на ветру стыннуть можно?

Время, время, как ветер,  
быстро мчится, крылато,  
без огня и без света,  
без руля и без лада.

Не могу! Не позволю!  
Киснуть, гнить слишком рано!  
Влейся, свет, в нашу волю,  
чтоб не гас, возгорая.

Воля — свет нашей силы,  
он при нас не угаснет.  
Вековое спасибо,  
все огни, вы — прекрасны!

*1982*



## ПАМЯТЬ

Певуче, островками  
она плывёт ко мне  
из тьмы вечерней — память,  
и сладу с нею нет.

Нет сладу, коль живу я  
и жизнь в запасе есть,  
а рядом существуют  
пространство, время, смерть.

А рядом, за окошком,  
в составе белых искр,  
гуляет ветер полночный —  
задира из задир.

Во тьме — столбы и впадины,  
во тьме — снега, снега.  
Смятение нам дадено  
большое, на века.

Что было с нами, не было —  
всё помним, вот удел!  
Забыли только небо мы  
в небесной суете.

Отличнейшая память  
меня зовёт в полёт,  
певуче, островками  
назад ко мне плывёт.

*1982*

\* \* \*

Говоришь: «Нас покинул успех насовсем,  
не пойму — почему, почему и зачем.  
В дни большого ненастья и в ясные дни  
мы одиноки, одни и одни».

Что с тобой, Сениэль, ты себя затравил,  
не сиди, словно сыч, ведь твой шаг поправим,  
стоит вскинуться, встать и уйти от себя  
к тем, кто ждёт, понимает и любит тебя.

Говорить, что таких — хоть шаром покати —  
в целом мире тебе не сыскать, не найти, —  
новость, в кою поверить никак уж нельзя,  
листья, небо, бескрайность — вот наши друзья.

Будь, встречайся с друзьями, гори и твори,  
ничего лучше нет, чем свиданья твои.  
Будем светлы, бескрайни во всём и всегда.  
Таковы небо, солнце и дней череда.

*1982*

\* \* \*

Лист упал и не поморщил воду...  
Шёлком стелешь, не жалеешь мёду  
и шутив ты, видно, ненароком —  
не в обиде нравом я широким.

Несерьёзным я и сам бываю,  
от себя тогда я изнываю.  
Всё ты ясным взглядом постигаешь,  
сразу же к себе располагаешь.

Светлый ум твой душу окрыляет  
и достойно имя представляет.  
Чтобы к умной речи приобщиться,  
я готов на край земли тащиться.

Мой поклон тебе за человечность.  
У тебя же за твою беспечность  
без вины своей прошу прощенья,  
и в ладу со словом убежденье.

*1982*

## ДЕНЬ

Рассвет — конь синий, голубой  
и алый конь скользит...  
И ночь отринута рукой  
лучей. И день сквозит.

Уже кругом давно светло.  
И вновь петух поёт  
и славит ял\* — моё село —  
и солнечный восход.

Теперь иной на ял плюёт.  
Где ж совесть у юнца?  
Селян презреньем обдаёт,  
родную мать не признаёт,  
не признаёт отца.

Во мне душа моей земли!  
Пронзило — хоть кричи!  
Уводит солнце день... Ушли  
последние лучи.

1982

---

\* Ял (чув.) — село.

## РАДУЖНАЯ РАДОСТЬ

Чтоб нечуткий, чтоб чёрствый узнал вдохновенье —  
вот возьмите: звезду я поймал на лету.  
Достаю не платок — ветерка чистоту.  
Зелень вешнего луга мелькнула мгновеньем.  
Блеском молнии молодость — и в пустоту!

Капле утренней и перламутровоглазой  
лишь мгновенье дано полноты бытия —  
возникает, круглится, вот-вот с острия...  
Но успел — и, подхвачена песенной фразой,  
остаётся на ветке навеки моя.

Эй, ау! В чаще леса рождается чудный  
молодой этот голос, играет, звенит,  
на мгновение лишь тишину осенит —  
как внезапно он вызван был к жизни минутной,  
так же вдруг пропадёт. Память лишь сохранит.

Не беду — только радость я радужной ведал:  
светлым, солнце, всегда будь — темнеть не спеши,  
ты веди меня в жизнь через юность души  
к ясной цели такой, чтоб удел мой был светел, —  
силу жаркую дай и покой сокруши!

1982

## ВДРУГ ОДНАЖДЫ...

Вдруг однажды вам бы отчего  
солнце не спросить бы светлым днём:  
«Почему, зачем и для кого  
на семи ветрах земных живём?»

(В добрых да разумных грех — не суть,  
и удел безгрешных — светлый путь.)

Вдруг однажды вам бы отчего  
месяц не спросить в чаду ночном:  
«Почему, зачем и для кого  
на семи ветрах земных живём?»

(В злых да неразумных честь — не суть,  
и удел бесчестных — тёмный путь.)

*1982*

## СОЛНЦЕ ДУШИ

Радость душу солнцем осветила.  
Век наш лил бы радость нам в сердца.  
В радости душа б моя не стыла.  
Радовался я бы без конца!

Если б радость безгранично длилась,  
то внутри горел бы вечный свет.  
Пусть бы это время утвердилось  
солнечное до скончанья лет.

До скончанья лет... Но если вправду  
будет радость вечная сиять,  
если бесконечному параду  
буду беззаботно я внимать,

то не обнаружится ли вскоре,  
что не греет беспечальный свет?  
Может радость превратиться в горе,  
если передышки нет и нет.

Ведь не зря говаривали предки,  
что без тени света не видать.  
Те же мысли у меня нередки.  
Ведь борьба судьбе большой под стать.

Век наш трудный справедлив, наверно,  
сменой обретений и утрат.  
Не печалюсь я, что не безмерна  
радость наша, а напротив — рад.

*1983*

## ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ

Счёты смерть неладная всегда  
с добрым и горячим сердцем сводит.  
Счастье с горем друг за другом ходят,  
нераздельна эта череда.

В зной воды прохлада хороша,  
в стужу кстати жар печи заветный.  
Где, скажи, без чуткости ответной  
юная и чуткая душа?

Доиграть игры не довелось,  
не достиглась цель в пути недолгом,  
не успелось в люди выйти толком,  
сил померить с другом не пришлось.

Молодого сердца существо —  
камень ли, предчувствующий горе?  
Много ног у горя — конь проворен  
и ровна дорога для него.

Молодого сердца доброта —  
камень ли, дающий счастьем завязь?  
Счастьем бы тому быть всем на зависть.  
Но без горя жить — одна мечта.

*1983*



## **БИОСФЕРА, БИОСФЕРА!**

Истребить всех войн причину,  
а природу не беречь —  
это значит лишь кончину  
в форму долгую облечь.

Разорвётся бомба — тут же  
уничтожит в пух и прах,  
а природа занедужит —  
ты же заживо зачах.

Искалечена природа,  
умирает по частям.  
Жизнь земная в год из года  
по её живёт часам.

Смерть планеты ты на деле  
с человеческой соизмерь.  
Для души в бескровном теле  
предпочтительнее смерть.

Биосфера, биосфера! —  
это наша колыбель.  
Наша в ней не только вера,  
но и жизненная цель.

Быть бы чистой и здоровой  
биосфере всей вовек.  
Наше дело, а не слово  
это, — слышишь, человек!

*1984*

## ДУХОВНЫЕ МИРЫ

Свою любовь где можно сохранить?  
За небом ли седьмым? — там есть миры.  
В мирах духовных лишь достойно быть,  
там негасимы лишь любви костры.

Распад их не коснётся впредь и днесь —  
высокий дух не подлежит ему.  
Играющее время только здесь  
влечёт из тьмы во свет, потом — во тьму.

И всевозможный здесь гуляет сор —  
смывается, наносится, пылит.  
Хочу очистить я земной простор  
от этого, что нас гнетёт и злит.

Из тех миров тогда же возратить  
любовь свою обратно я бы мог.  
В мирах духовных лишь достойно быть —  
дух молод, в нём бессмертия залог.

Что юности изнанка бытия?  
Прекрасен друг — и лучшей жизни нет.  
И может, потому мечта твоя,  
чтоб вечно длить свои шестнадцать лет.

И в сердцевине сердца ты хранишь  
любовь — тебе шестнадцать лет всего.  
Но почему-то много позже лишь  
духовный мир вступает в торжество.

*1984*

## БУДЕМ ДОБРЫМИ

Далеко-далеко светлой юности взгляд увлекает  
панорама: ромашки, да луг, да леса за рекой.  
Впереди эта жизнь, что лепечет, ликует, ласкает.  
Отказаться — нет в мыслях у нас — от удачи такой.

Мы с надеждой вступаем на этот изменчивый путь.  
Удивительный мир наполняет нам радостью грудь.  
Только юность ушла — и смешалась обида с тоской.  
Вот и мысли уже потянули бежать на покой.

Жизнь — уже не подарок.  
Всякий шаг наш удачи не ждёт.  
Свет был яростно ярок, но уже угасает огарок,  
больше в нас не живёт!

Мы недобрым и въедливым глазом узрим впереди  
невесёлый ландшафт. Что поделать — гляди, не гляди —  
только серые, жухлые, хмурые краски вокруг.  
Значит, мы постарели — так что ж привередничать, друг.

Для друзей и товарок  
будем добрыми — все мы в гостях.  
...Свет был яростно ярок, напоследок усталый огарок  
вдруг взметнулся огнём и зачах.

*1984*

## ЗАБЛУЖДЕНЬЕ

Несбыточной в дорогах дальних  
не будет пусть мечта моя.  
Я не нашёл любви в скитаньях,  
заплакал как ребёнок я.  
А сердце слёз не принимало,  
и заблуждение всё ясней:  
я сердцу не внимал нимало,  
внимая рассказням друзей.

Пылимся мы в дорогах дальних,  
стремленья к правде не тая.  
Я правды не нашёл в скитаньях,  
и кровь разгневалась моя.  
Лишь сердце правду понимало,  
и заблуждение всё ясней:  
я сердцу не внимал нимало,  
внимая рассказням друзей.

*1984*

## КУДА?

Не скажу, что беды не боюсь,  
но скажу, что частенько встречаюсь с бедою,  
сколько б их ни нависло, борюсь,  
каждый раз содрогаюсь душой перед боем.

Вот опять острой болью висит.  
Миг — и вся навалится, всего взбудоражит.  
Знаю я: нелегко сердцу чуткому жить.  
Знаю и не сдаюсь, изводясь в каждом разе.

Не черстветь, обновляться — девиз  
тех, кто хочет борьбой и в борьбе очищаться.  
Где растёт он, в слезах иль в крови?  
Без него нет любви, без любви нет и счастья.

Лишь в любви откровенья исток.  
Жизнь бессмысленна, без откровения если.  
И борьба есть святыня. О том —  
песнь моя, о любви сокровенная песня.

Вот и всё. Вроде мудрость проста.  
Но не просто всё так, друг, на самом-то деле.  
Пусть — борьба, но куда, но куда на пределе  
так пронзительно мчимся, куда?!

1985

## ТРЕВОЖНО

Тревожно душе, ох тревожно.  
Над ней вновь густеет гроза.  
Её отогнать невозможно  
и поздно вернуться назад.

Ревнителю, прячете правду.  
Без правды как жизнь нам прожить?  
Исчадья незримого ада.  
Не соколы духа, ужи.

Исчадия тьмы и тумана,  
безвременья подлещи,  
исчезну — бояться не стану  
я вас, оголтелые псы.

Как ловко вы прячете совесть  
не только от нас, от себя.  
Вы нищи, бессовестны то есть,  
от вас отрекусь вовсе я.

Нет вас кроме вас и не будет.  
Вы лживы насквозь, навсегда.  
И маску с обличья не будни  
сорвут, а сорвёт лишь беда.

Тогда уж не спрячетесь, дудки,  
тут спрятать нельзя ничего.  
Лишь славные, сильные духом  
властителем будут всего.

Бледнеете? Зло говорите?  
Искусно скрываете дрожь:  
«Не слишком ли храбр ты, воитель,  
опасно, на риск ведь идёшь?»

О том же и голос был слыше.  
Ответил я тихо ему:  
«На риск я осознанно вышел,  
осознанно смерть приму».

*1985*

## СОВЕТ

Начало — в молчанье. Прощупывай строй,  
разглядывай звук, не ори выразимо,  
а слушай душою, чтоб выразить зримо  
всё то, что назвали мы тайной, друг мой.

Лишь невыразимым дыши ты всегда.  
А что выразимо, лежит неглубоко,  
и за неглубоким идти недалёко.  
А что неглубоко — не та высота.

Ты хочешь оставить нам песню иль звук?  
Пронзительный звук или крик? Оставляй же.  
Ты сердцем был прав, коль неправ, прахом ляжет  
твой звук или крик или песня, мой друг...

*1985*



## СТОН

Такая уж пора,  
такая уж печаль.  
Уж если не прозрел,  
то поздно прозревать.  
Дух не запечатлён,  
не выражен в словах.  
И обречённости —  
на облике печать.

Как горько сознавать,  
что кончился твой свет.  
Защиты у небес  
искать — порыв пустой.  
Ты кончился, притом  
не временно, совсем,  
давно не свет ты — мгла,  
похожая на стон.

Что сделано тобой,  
предвидя эту мглу?  
Теперь она ты сам,  
её не отвести.  
К кому ж я так жесток,  
безнравственен и глуп?  
К себе, к кому ж ещё;  
прости, судьба, прости.

Проходит мысль, любовь,  
чья сила душу жгла;  
все ощущения  
пройдут, как звук простой;  
проходит жизни ход,  
проходит даже мгла.  
Весь исчезаешь ты,  
не исчезает стон.

1985

## ТОСКА ПО ДОЖДЮ

Покой и доброта  
и отзвуки печали  
сквозят то здесь, то там  
весенними ночами.

Тоскую по дождю,  
по серебристым струям.  
Его я очень жду,  
светясь и торжествую.

Мерещится сквозь сон,  
мерещится сквозь дрему  
всё он, всё он, всё он —  
отраднo, неуёмно.

Рыданий нет у струй,  
стенаний тоже нету.  
Дождь, перестань к утру,  
ведь утро мудренее.

И мы добрей, умней,  
по милой не тоскуем.  
У пакостной у ней  
прощенья не прошу я.

Чем жив был, чем богат  
словами не расскажешь.  
Дождями жил пока.  
Богат ли? Слишком даже.

Мгновенья ворошить  
не станет дождь напрасно.  
Спасение души —  
мотив его прекрасный...

1985

## НЕОЖИДАННОЕ ПРИЗНАНИЕ

Кто думал: жизнь всего лишь миг —  
зажглась и пролетела.  
Был неизведан мною мир,  
и к небу шаг не сделан.

Погасла падавшей звездой.  
Никто в том не повинен.  
Я был как знак иль звук пустой  
не сбывшейся судьбины.

Бедой безлюдье было мне.  
Людишек хоть и много,  
отзывчивых, сердечных нет.  
Они гнушались мною.

Одних знакомцев я любил,  
друзьям предпочитаю.  
У них без тайной мысли пыл,  
друзья — вражду питают.

Детей любил, собак и птиц,  
любовь к ним долговечна.  
А в юности — срамных девиц, —  
нет тварей человечней.

Не жду, что скажут: не забыт,  
спасён ты предстоящим,  
ведь не был поднят я в зенит  
мгновеньем уходящим...

1985

## И КАЖЕТСЯ МНЕ...

Людей, их надежды, неправый их суд,  
их пыл, отрешённость, их небо и землю  
приемлю я всё же — спасут не спасут,  
не множат печали иль множат — приемлю.

Пришедшие жить уходящим сродни,  
одною и той же опутаны сетью.  
Лежу я и вижу огни лишь, огни...  
Как много их в небе, внизу — перед смертью.

Тревога на сердце сильней и сильней,  
и бьётся оно с холодящею дрожью.  
Свой синий огонь я ищу меж огней,  
как друга всю жизнь меж людей безнадёжно.

Я знаю, не сбудется то, что ищу:  
она закатилась — звезда — друг мой синий.  
Пока в забытии, не в забвенье, прошу:  
оставьте меня, не любите так сильно.

Очнусь и рукой тихо слёзы утру.  
Спасения тайная весть пронесётся.  
И кажется мне, что умру поутру,  
под отсвет небес, в ожидании солнца...

1985

## РОДИНА, СВЕТ ТВОЙ...

Бессонные ночи, бессонные ночи.  
В бездонную темень распахнуты очи.

Гнетущие мысли тобой, знать, владеют,  
так странно нормальный мужик не балдеет.

Не спящий, безумный, но я не пропойца.  
Признай ты меня и меня ты не бойся.

Безумствую, грешный, не праведник, что же,  
не гений притом, и успех мой ничтожен.

В смятенье стораю, обижен судьбою,  
работаю, бьюсь и борюсь сам с собою.

Весь в муках, но, верой святой озаряем,  
о родине плачу, родном моём крае.

Булгария Волжская... крик безответный...  
Ищу незапамятный, родина, свет твой.

Бездонная тьма... Ничего в тьме не вижу.  
Бессонная ночь... Где ты, свет, отзовись же?!

*1985*

## УТРАТЫ

Бескорыстно мы жили, и силу, и удаль  
мы выказывать смели в пути, на ходу.  
А роднее дней наших что будет, что будет?  
Ведь, овеяны смертной тоской, дни уйдут.

Своеволье утрат, как злодей поневоле,  
не оставит в покое, спокойно, без зла  
будет бить, и нам станет до крайности больно.  
Нас обнимет внутри пустота и разлад.

Как же быть, если всюду утраты, утраты,  
если жизнь вроде как и не жизнь без утрат?  
Но утраты бесстрастны; им рады не рады,  
злое дело своё всё творят и творят.

Нет управы на них, нет обиды, напрасно  
обижаться на ветер, на гром иль на снег.  
Как справишься с ними? Ведь то и прекрасно,  
что свободны они и вольны на разбег.

Без утрат жизнь не в жизнь. Ах, утраты, утраты...  
Я — предчувствие горя, страданья. Я — боль.  
Не застигнутый вами несчастен стократ я,  
а застигнутый вами несчастен не столь...

*1985*

## КОГДА Я...

Когда я прохожу среди вас не суетно,  
не праздно, чем я пакостлив, чем плох?  
День завтрашний желанен мне и чуется  
днём нынешним, и на сердце тепло.

Здесь где-то рядом и тепло людское  
торопится, спешит душе навстреч.  
Что я в пути, замызганный, усвоил?  
А то: чтоб получить, отдай допрежь.

Как исцелиться мне от страждущего века,  
от разъярённого, готового упасть?  
Ото всего, что чуждо человеку?  
Как мне утешиться, как не пропасть?

Порыв широкий и разгул ужасный  
страстей нездешних окружает нас.  
Страшнее смерти над землёй кружатся  
закономерности, враги прикрас.

И скована гортань, поющих нету.  
Живём с заложниками наравне.  
Следы теряются, уходят в лету.  
Нет зачарованных, парящих нет.

О, ищущие выгоду и почести!  
Вы их найдёте, но — не удержать.  
И как мне пожалеть, любить вас хочется:  
мир в гневе не затихнет, вас сожрав.

Из явного не делайте секрета  
и не сводите вы меня с ума.  
Есть шествие земли, а в нём луч света,  
и слушает его и видит вся страна.

1985

## БЕСОВСКАЯ ДУША

Ой, Юхма, Юхма-Ильин,  
празднуй жизнь, но помни твёрдо:  
ты умерь гордыню, кинь,  
не она спасёт, а гордость.

Пусть лихой вершишь ты суд,  
пусть удачу любишь страстно,  
опрокинут и сомнут  
и тебя сии пространства.

Тщетность суеты — взорвёт,  
честолюбие — погубит.  
Ты тщеславен — на народ  
взялся уповать покуда.

Вижу, скажешь ты, увы,  
безрассудно улыбаясь:  
«Канет всё в пучину и  
вслед оставит Слово-Память».

Беззастенчив, хватка есть,  
ты ловчишь, стараясь выплыть,  
но давно уж ведь — не здесь,  
ведь давно колодец вырыт.

Испокон веков, греша,  
знать всё это полагалось.  
Бесовская ты душа,  
зря надеешься на наглость...

1985



## УБИЙЦА

В народе есть чем помянуть  
того, бессмертным стать кто тшился:  
Я.У. убил свою жену,  
убил и больше не женился.

Не срок, а орден получил.  
Да вот, сумел, недаром — прыткий,  
так как один верховный чин  
был связан с ним одною ниткой.

Теперь уж оба в тупике.  
В народе много есть поэтов,  
но соблюдают «этикет» —  
убийство это не воспето.

Пожалуй, первым воспою  
«народного» поэта подлость.  
Он опозорил речь мою,  
и выжиг мне грудную полость.

Такое можно ли терпеть?  
Да, видно, можно, коли сходит  
всё с рук давно. Не одолеть  
нам зла, когда зло верховодит.

Поэтов убивают зря,  
но зря поэт убить не может.  
Вопим: «Прекрасна ты, ЗАРЯ!»  
О, как сей крик ужасен, боже...

1985

## ЧАВАЙН

Приди из прошлого, явись,  
являйся снова ты и снова,  
Чавайн Сергей Григорьевич,  
родимый призрак, тень былого.

Убийца жив твой до сих пор,  
лет девяносто шесть ли, семь ли  
уж ходит по земле, в упор  
всех убивавший, бодр доселе.

И баснословный сей палач  
досель не знает угрызений.  
Чтоб жрать и мясо, и калач,  
торгует тыквой в воскресенье.

Прибыток. Пенсия мала.  
Базар бурлит. Йошкар-Ола  
всё ж овощ этот покупает,  
о том, с чьих рук берёт, не знает.

О том, кто он, понятия нет...  
Чавайн писал роман «Элнет»,  
не дописал, по воле рока  
расстрелян был как враг народа.

Прими, душа чуваша, боль;  
души марийской боль не тает;  
яви ты состраданье, коль  
душа к душе любовь питает.

Земли прекрасной — Марий Эл —  
прекрасный сын, сын убиенный,  
горюет по тебе смиренно  
поэт чувашский Сениэль.

Не дай, всевышний, я молю,  
из-за одной преступной рожи  
мне озлобиться ко всему  
народу русскому; о боже.

Приди, как божий суд явись,  
ничем вы честь не запятнали,  
Чавайн Сергей Григорьевич,  
всегда, всегда сияй над нами...

*1986*

## О, СЕСПЕЛЬ...

В тщете земной, в тщете надежд  
иные, словно стыд, упорно  
и непреклонно совесть, честь  
свои нам выставляют бодро.

Но тот ли стыд — подобный стыд?  
Идя по ложному завету,  
ничтожному огромным слыть  
пути прокладывает это.

О, Сеспель, былъ родной земли!  
Ты наша боль, ты наша рана.  
Травили, жгли, терзали рьяно  
тебя — до петли довели.

Пронёсся, не успев расцвести,  
обуглился ты, — дело споро  
у тех, кто, словно стыд, упорно  
нам выставляет совесть, честь.

Всегда, везде, как истый змей,  
и проползёт, и жертву чует,  
и, именем твоим торгуя,  
титаном хочет слыть пигмей.

Гуськом идут; круг завели;  
идут лауреаты, стал быть,  
которым ты вовек не стал бы  
при них, хоть будь сто раз велик.

... Проклятый, ненавистный Нуль,  
распята жизнь его тобою  
и прочею пустой тщетою!  
Остался стон — как грозный гул.

*1986*

## ВЕСЕННИЙ ДОЖДЬ

Как чиста небесная вода!  
Дождь весною благо, не беда.  
Искупались тополя, берёзы.  
Искупались медуницы, розы.

На заре в сторожкой тишине  
не печально и не грустно мне,  
а тревожно чуть, дождинки реже  
стали такт выплясывать, чем прежде.

Гусельной натянута струной;  
я немых нашёл созвучий строй;  
пальцы, пальцы, вы моих мечтаний  
дальние вершины, трепетанье.

Песнь моя до слуха всех дойдёт,  
светлый и высокий день придёт,  
прозвонит жизнь песней не случайной,  
прозвонит жизнь песней величальной.

Как чиста небесная вода!  
Обожжёт страданье ли когда  
или страшная беда нагрянет,  
дух испепелится, вновь воспрянет.

... Так я думал, чувствовал тогда.  
Да, чиста небесная вода,  
но — в весну, не в лето и не в осень, —  
дождь в ту пору неприкаян очень.

1987

## ПАРУС

Он словно сон, тот год далёкий...  
На лоне моря голубом  
я видел парус одинокий  
и солнце в блеске золотом.

Я никогда не позабуду,  
о парус, твой полёт, тебя,  
а появился ты как будто  
в тумане из небытия.

Белел, летел... И было что-то  
в тебе такое, что едва  
угадывалось, вспыхнуть чтобы  
потом во мне как чудный факт.

То — вечное твоё смятенье  
и вечная твоя тоска.  
Летел ты, падал грустной тенью,  
из света снова возникал,

ушёл, меняя очертанья...  
И била в очи мне струя,  
что светлы все мои мечтанья,  
что вечно юным буду я.

... Пусть словно сон тот год далёкий.  
На лоне моря голубом  
всё вижу парус одинокий  
и юность в блеске золотом!

1987

## НАРОД МОЙ

Чувашия — мой бред, моя царица.  
Чувашия безлюдна и безмолвна.  
Всю жизнь в опале я, душа томится,  
и связана она с народом кровно.

Народ мой — и библейский, и — Аттилы.  
Он — соль, которая никак не растворится.  
Нерастворимость всевселенской силы,  
ты — истина моя, моя гробница.

Угробили меня, меня уж нет по сути.  
Мой дух убит, качусь я словно в пропасть.  
И над народом — судьи, судьи, судьи  
и палачи. И их так много! Пропать!

Чувашия безлюдна и безмолвна.  
Куда исчезли люди? Есть людишки.  
Кто связан был с народом крепко, кровно,  
по тюрьмам, лагерям играл в картишки.

Расстрелян и растерзан дух народа,  
оболган, оклеветан он и проклят.  
Десятилетиями страну уроды,  
как и Чувашию, толкали в пропасть.

Их было уйма. Но пропасть не дали  
и тем, кто Родину имел в душе и сердце.  
... Народ Аттилы — всякое видал он,  
но вот такого не видал усердья.

1988

## КОММУНИСТ

Был двуличен, лжив, бедняга,  
к одному вопрос он свёл:  
прихоти, соблазны, блага  
не превыше ли всего?

Мать, отца не жаль, коль нету  
выхода, продаст, найдёт.  
Кто там, друг повержен, недруг,  
пусть страдает, пропадёт.

Не добро, а зло приносит  
столько радости всегда.  
Благостно, легко он прожил,  
душу дьяволу предав.

Ещё больше жить, быть вечным  
хочет, совесть посчитать  
выдумкой, а ад крошечный —  
пугалом, презрев Христа...

*1988*



\* \* \*

Свет солнца, божественный свет,  
люблю тебя: свет есть любовь,  
любовь это бог, и когда её нет,  
мы сиры и жалки, оставил нас бог.

Без бога в душе человек  
и не человек, и не зверь.  
Уж лучше нам быть без царя в голове,  
чем тёмным, безумным быть скопом, поверь.

Вожу вот дрожащей рукой  
и вижу: гласят письма  
о нашей с тобою судьбе роковой,  
о нашем с тобою пути, временах.

И если истопчут в пути,  
на этой кремнистой тропе,  
о, солнце, свети ты и не уходи,  
ты вечно нам пой на своей на трубе...

*1989*

## У ПАМЯТНИКА

Поклон тебе, Мишши, за жгучесть слова,  
за огненное сердце, светлый ум,  
за то, что в жизни снова ты и снова  
приходишь к нам — властитель наших дум.

Какие б ни гуляли ныне ветры,  
какие б ни теснили времена,  
для нас ты как маяк, как символ веры,  
и в нас душа твоя растворена.

Нам, юношам годов иных, в тумане  
лишившимся всех радостей земли,  
всё чудятся подснежники и маки,  
что «позапрошлым летом расцвели».

Вы не грустите, ветлы и берёзы!  
В свой Шубашкар через преграды лет  
пробился всё же, вылитый из бронзы,  
навечно возвратился наш поэт!

И, чувствуя законность ту, по праву,  
у всех чувашей в сердце — торжество.  
Мертвы, забыты перед этой славой  
бесславные гонители его!

И, видя как нас ловко гонят в сети,  
обида не прощая никому,  
мы молимся тебе, как богу, Сеспель,  
великому поэту своему!

*1989, май*

## НЕ ОТВЕРГАЙ...

Не отвергай, не отвергай меня, народ мой.  
Тебе я одному несу живую душу,  
как дань. Люблю ль тебя? Люблю! И не нарушу  
закон: любить всегда, любить везде — чуваш природный.

Меняешь облик ты: то мать напоминаешь,  
то братьев и сестёр, отца, родню, то друга...  
И говорит и шепчет мне моя округа:  
«Коль это так, то ты народ родной совсем не знаешь.

Как и в тебе самом, несовершенств в нём бездна,  
он полудик, он тих и робок, но стремится  
вперёд. Трудолюбив и добр. Но экстремисты,  
но бесы тоже есть среди него, что всем известно.

Свобода... Быть свободным, быть самим собою  
мечтает мир и наш народ мечтает, жаждет.  
И будь поэтому к себе ты беспощаден  
и это называй потом, как весь сгоришь, судьбою...»

Не восхваляю тебя неправдой — песней громкой.  
От слов любви льстивой — на душе паршиво.  
Для дел твоих и для тебя я душу живу  
несу — не отвергай, не отвергай меня, народ мой.

*1989*

\* \* \*

*Брату Грише*

Чувашия сегодня — странное явление.  
Любить язык родной — почти что преступленье,  
а похвалить — ой-ой! нельзя, нельзя!  
Скоп фарисеев, общий дом готовя,  
меня, как чуждого, на слове ловит —  
мол, с русскими мы братья и друзья.

Чуваша своего и оскорбить тут могут,  
и подавить, и сесть в тюрьму помогут,  
иноплеменника лишь трогать не моги.  
И званья всякие дадут, дадут квартиру.  
Гостеприимство полное, как в Трире.  
Прекрасно всё. Такие пироги.

*1989*

\* \* \*

Кто сказал: ах, ты Русь зоревая?  
Я скажу: ах, Чувашия-край,  
твои боги, меня опекая,  
опекали крамольника, знай.

Нас держали и держат за горло  
благодетели разных времён.  
Наг и нищ мой народ; холод, голод  
под литавры всегда терпит он.

Непогода духовного гнёта  
многих к петле, к вину привела.  
Скорбный дух мой и бьётся, и гнётся,  
но сломалась душа, извелась.

Я теперь уж не верю в ваш гений,  
я не верю теперь в палачей,  
в сатанински уродливых генах  
не ищу уже «счастья ключей».

Сильных, умных ведут в заточенье  
иль — в снега, на задворки страны.  
Заскорузлых людишек круженье  
и верченье вам в радость даны.

Ещё долго, от края до края,  
будет помниться ваша чума.  
Ах, не надо мне вашего рая,  
сыт по горло, он хуже, чем ад.

1989

\* \* \*

Обида и страх... Как, мой друг, умирать?  
Как смерть пережить, коль не всё ещё роздано,  
коль не всё ещё сгублено? Жизнь не мираж  
в сём мире подлунном, под вечными звёздами.

О чём мне жалеть? А тебе чем гордиться?  
Чуваш без меня зашумит, забурлит,  
борьба за свободу без нас возгорится,  
без боли пройдёт жизнь моя, доболит.

Начертано было: имея свой голос,  
и другие спокойно лови голоса.  
И вере, и правде, и чести спокойно  
ещё хватит служить сил моих до конца.

Умру в одиночестве полном... Душе  
разлуку стерпеть хватит сил, коль не хватит,  
как славу, любовь, на исходе уже,  
мы туда, за черту, жизнь с собою прихватим.

*1989*

\* \* \*

*Брату Ивану*

Случается, настолько мы душою  
пронзительны бываем, что порою  
предвидим день и час, когда нам — в гроб,  
и жизнь засветится иною стороною.

Прощаю даже Каина я — Авель.  
Прощать иль не прощать один я вправе:  
благодарю за пролитую кровь  
печальной молитвою без слов.

О, миг, остановись. В минуты эти  
свободен я, как солнце и как ветер, —  
я счастлив... Слава, смерть, любовь  
мне что тогда? Я бог. А бог бессмертен.

...О, наш убийца! В зле он пребывает.  
Не прямо и не скоро убивая,  
на что рассчитывает — антибог?  
Дух не убьёшь, он это забывает.

*1989*

\* \* \*

Не поздно ль — о странствиях вольного духа?  
Нам некуда деться, ведь жизнь-то прошла.  
Иссякло, истлело. Угасло, потухло.  
Душа в смертном страхе от плача зашлась.

Обрыв вот, обрыв, ну а, может, и пропасть.  
Не время томиться; замкнулся наш круг.  
Измеривши собственной мерою, прочно  
оставим и выси, и дали вокруг.

Да стоило ль мерить? Ведь собственной верой  
прожить не пришлось до сих пор никому.  
Как жуть и проклятие — высшая мера  
на жизнь нагоняла кровавую муть.

Где слава, любовь; доброта где и мужество?  
Когда будет знак, чтобы страх превозмочь?  
Когда не отпрянем от власти мы в ужасе?  
Тогда лишь, когда будет вечная ночь?

Тогда-то, в ночи беспросветного мрака,  
казнясь и невинно-виновных казня,  
и вспомним, что надо б воскреснуть однако,  
да вышел лимит — не осталось ни дня...

*1989*



\* \* \*

Каково день встречать, провожать  
с малых лет через яви и сны  
сознавая, душою дрожа,  
что и ночи, и дни сочтены.

Я завидую вам, кто лишён  
чувства этого — мыслить, страдать;  
кто брать радость на землю пришёл,  
брать для тела, для сердца — в трудах.

Я завидую вам, вы дельны,  
вы без лишних речей начеку —  
и у вас через яви и сны  
дни и ночи без боли текут.

Чтоб об этом кому рассказать,  
никогда не найдёшь никого.  
Ждёшь всю жизнь, как же будешь не ждать?  
Жди не жди — сочтены... Каково!

*1989*

\* \* \*

К чему мне слава? Жить-дрожать  
и умереть, чтоб славу эту  
другие не смогли поэты,  
как бабу, увести рожать?

Изменчива и своенравна —  
предаст, недорого возьмёт,  
не скажет: тип, давай развод,  
а вероломно жизнь отравит.

И светит мне одно расстройство,  
самоубийство, как итог.  
Все скажут вам: не в том геройство,  
что славу ту не уберёг.

Геройство в том, что не поддался  
соблазну, быстро догадался  
что за преступная стезя  
всё то и скользкий путь, друзья.

Зачем мне слава? Исписался  
и нечего уж больше дать?  
Не баба — слава, дым; тогда  
тем боле стоит опасаться.

Хвала — какого же рожна?  
За что хвалить бездарных нищих?  
Ущербным, а не здоровым в пищу  
вся эта суетность нужна...

1989

\* \* \*

Ждём, надеемся, стремимся.  
Вечно так, когда же жить?  
С кем же жизнь нам разделить?  
Не тяни слащаво: Ми-ися,  
не ласкайся — буду бить.

Смог обнять и не обнять,  
смог понять и не понять,  
это странно, очень странно,  
это даже иностранно —  
утешенье в мраке дня.

Смог забыть и не забыть,  
смог живым и мёртвым быть:  
что за чудная природа,  
начинённая свободой —  
остаётся лишь убить.

И убьют. К тому — всё дело.  
Что взамен мы можем дать?  
Уповать, стремиться, ждать.  
А доколь? Жизнь пролетела —  
жить когда же?.. Вечно так.

*1989*

\* \* \*

Одна на всех любовь и боль одна  
и есть сей мир в канун небытия  
в предчувствии разлуки вечной.  
На что башка и для чего дана  
(спросить у бога должен робко я)  
всем тем из нас, кто так беспечен.

Беспечен, легкомыслен на краю  
у бездны мрачной — напрочь всё забыв,  
он зверем рвётся к самоедству.  
Безмозглый трус, шакал, не гамаюн,  
сам худший раб среди рабов, рабынь,  
не птица вещая поэтов.

Ужели все обречены, все-все?!  
Обидно, страшно — как и боль, любовь  
нуждаться в жизни перестанет.  
Свет белый! Мир! Всё, всё уйдёт совсем!  
Не нужно слов, не нужно больше слов  
на утешенье в скорбном стане.

*1989*

\* \* \*

Вот говорят,  
что, постарев,  
я ужаснулся:  
согнулся,  
охладел,  
тщету познать успев,  
и сам  
к себе я  
прикоснулся,  
как смерть.

А жизнь,  
как и любовь, плевать  
на нас хотела.  
Но я и после смерти  
буду вас любить  
себе в ущерб:  
ведь дело,  
сами знаете,  
не в теле —  
в душе...

*1989*

## ЗИМНЕЕ

1.

Лукавый бес, ты всё сравнивал, как кочки  
засыпав снегом, и таишь обман,  
чтоб не было возврата одиночкам,  
чтоб не было наглядности умам.  
Но знаю чётко: свалят с ног, растопчут.  
Но знаю: ранний я, неравен бой.  
Какие бесы надо мной грохочут,  
какие бесы воют надо мной!

2.

О, страна, как сумела, смогла  
сохранить ты себя в каждом разе?  
Будет новый обман, злоба, мгла.  
В этой мгле чую новые казни,  
и бессильную ненависть, глад,  
и всемирную гласность провала...  
Мгла и обморок. Обморок. Мгла.  
И заря... Неуютна. Кровава.

*1989*

\* \* \*

В земной печали,  
когда ещё не пройден  
твой путь тернистый,  
ты всё чего-то ищешь;

ты хочешь быть умнее,  
хоть и умён ты вроде,  
ты хочешь быть получше —  
светлее чуть и чище...

*1990*

## СВОБОДА

Нам мечталась свобода —  
дух свободный и труд,  
но с того почти года  
ложь, обман зверем прут.

Получилось иное  
на известной черте,  
как с глухою стеною  
говорим о мечте.

И по-прежнему горе  
чуть не в каждом дому.  
По колено нам море  
и живём — вор на воре,  
тащим в бешеном споре  
всяк себе одному.

До чего же, ребята,  
жили мы хорошо —  
тачка, ватник, лопата,  
рукавицы на брата...  
что же было ещё?

А был свет социализма,  
были лагерь, тюрьма,  
чтобы без укоризны  
шли мы до коммунизма,  
кандалами гремя.



Двадцать пять лет давали,  
каждый пятый сидел,  
на расстрел поднимали —  
сам бы бог поседел  
от чудовищных пыток,  
от стыда, чёрт возьми.  
Был свободы избыток  
пухнуть, заживо гнить.

Нам мечталась свобода,  
всяк её получил.  
Крaше жизнь год от года,  
рай сплошной стала жизнь.

*1990*

## СЛОВА

Вновь ускользают. Вряд ли мне удастся  
поймать тот звук, чей след неповторим.  
Слова, слова, говаривал принц датский,  
а принц чувашский так не говорил.

Сомненья и сомненья... Так и эдак —  
до крика бьюсь. Скользят, скользят слова.  
Не то что слово точное, звук редок.  
И то — лишь на беду. Я жив едва.

Как жжет он, звук, и ранит, образуя  
то слово, чьё последствие — огонь.  
Слова не лечат ныне зачастую,  
слова калечат душу, но — доколь?

*1990*

## МОЙ ГОЛОС

Ведь было время, было шумно  
в садах поэзии подчас,  
не то теперь: о том прошу мне  
напомнить, время, лишний раз.

Мой голос, голос молодого,  
летающий из глубин годов,  
ведь сохранился он и снова  
как юный зазвучать готов.

Ты светел был, правдив, мой голос,  
и тусклым быть не мог, не мог,  
и нёс меня на крыльях, то есть  
грудь будоражил, горло жёг.

Отчалив, от себя уйдёшь ли,  
ушёл бы к берегам иным.  
Отчаявшись, уйдёшь, уж точно,  
я не ушёл, тобой храним.

Прости, созвучье «Ориноко»,  
прости, о время, не готов,  
но г о л о с слышу одинокий,  
летающий из глубин веков...

*1990*

## ЖЕЛАЮ ПРАВДЫ...

Нешадно просто: правда — только правда.  
Желаю правды, а не кривды, ё-моё.  
В мерцающие тайны листопада  
уводит мысль желание моё.

Брожу один, как прежде, я бессменно,  
я, выстоявший натиск бурь лихих.  
Кто выстоял, становится бессмертен,  
и будет Человек среди своих.

А правда сладкою едва ль бывает,  
прегорькою всегда её встречал.  
Пред ней я виноват, вина — большая,  
я — каюсь, то — начало всех начал.

Очищен буду, буду сердцем светел —  
я каюсь среди клёнов, среди рябин.  
Поэзии высокой, правды ветер  
врываюсь в душу, кривду истреби.

Свет правды беспощаден, но прощающ  
для тех, кто мать, кто бога не забыл.  
Смелее правда с каждым днём, прощаясь  
с своею ложью — праведность добыв.

И кается...

*1990*

\* \* \*

Нам никуда, нам никуда не деться  
от истины прозрачной и простой:  
секрет не в том, что ты усвоил с детства  
обычай новый — суетность, а в том,

что в повседневности себя ты углубляешь  
в высокие проблемы бытия,  
очищенный страданием, проявляешь  
подход к ним мудрый — горе затая.

Ты тоньше чувствами, умней умом не задним,  
ты добр; как сострадания пароль,  
имеешь совесть, хоть и боль надсадна.  
И ты живёшь, а не играешь роль.

Лучёнышек надежды и зерно прозренья  
в бег времени ложатся хорошо;  
о с о в е с т ь! не гонима, не презренна  
ты будь века, какой бы ни пришёл!

Бездушный люд угомонится разве?  
Бездушный люд, утративший тебя  
иль не имевший, миру — как зараза.  
И гибнет Правда, правду вострубя...

*1990*

\* \* \*

То пожар всемирный то и дело,  
то разбой и голод — все года.  
Вечную тоску и вечное смятенье  
мы имеем, видно, навсегда.

Из небытия не возникали,  
но туда уверенно идём.  
Звались лучшие большевиками,  
хуже их теперь кого найдём?

Гаснет свет, нет света — нет и теней.  
Молкнет век... Так горько, что беда:  
вечная тоска и вечное смятенье  
нас погубит, видно, навсегда.

Мы ли это? Пахнем трупным смрадом.  
Может, кто-то жив и запоёт?  
Может, кто встряхнётся всё же сразу,  
будет взлёт, за взлётом и полёт?

Как бы ни впивался ты очами  
в глубь и в ширь, оставь надежду днесь:  
позади — далёкое начало,  
впереди — позор наш и конец...

*1990*

\* \* \*

Когда я полыхал,  
когда я подыхал,  
незащищённостью своей поддразнивал врагов,  
на горло наступив, один мерзавец, хам,  
сказал: «Не повторишься вновь».

Я знал — не повторюсь,  
я знал — не отступлю  
ни перед кем и никогда, а буду петь  
всё ту же песенку, которую люблю.  
Я буду петь, я буду петь.

В чью дудку дули вы,  
о чём вы думали,  
когда народ стонал, терпел и погибал,  
когда стоял палач над нами, душами?  
Вы были те из тех, кто правит бал.

И не уверен я,  
что полудикая  
моя сторонущка не повторит всё вновь.  
Вновь, песня милая, ты будешь, тихая,  
незащищённостью своей разить врагов.

*1990*

\* \* \*

Становлюсь угрюмым, деревянным,  
но подруге это всё равно,  
матерится громко — уши вянут, —  
пьёт со мною горькое вино.

Даже стены в вековом раздумье  
понимают, кажется, меня.  
Эта — нет. Насилует. В безумье  
лезет — сука — среди бела дня.

Из деревни в этот славный город  
я пришёл за славой — херувим.  
Разожглись кровавые раздоры —  
стали гнуть меня, ломать, травить.

Уезжают из родного дома  
сотни тысяч чуть ли в никуда.  
На полях не убрана солома,  
на путях застыли поезда.

Так всегда, ничто не изменилось,  
вот и пьём мы бешенства вино.  
Я — разрушен, лопаются жилы,  
а подруге это всё равно.

*1990*



\* \* \*

С почувств, с полунамёков  
к полупризнаньям перейдя  
и этим душу бередя,  
оскорбил Вас ненароком.

Разве раньше т а к любили  
Вашу милость, боже мой,  
а были Вы к а к о й женой!  
Разве раньше Вас и били?

Говорите: это — давность,  
и Вы давно уже одни.  
Неблагодарности сродни,  
знать, людская благодарность.

Грубый гунн, как говорится,  
я по Версалям не гулял,  
хоть во Праге и бывал.  
Да, я глуп, моя царица.

И — дурак. Я легковерен:  
доселе верю и слезам,  
и слухам, нищим, псам, и Вам.  
Жалко. Оттого, наверно...

*1990*

\* \* \*

И тучи в небе, тучи, тучи.  
И речи ваши в тишине.  
И всё так зыбко и летуче  
передаётся в душу мне.

Нет, не страшны вы, мы поспорим,  
вновь прояснится синева,  
придут на сердце скоро, скоро  
простые тихие слова.

Слова, которые поются,  
бесхитrostные, как я сам.  
С такою крепкого союза  
мне, точно знаю, не связать.

Вы о любви заговорите  
на меркантильном языке,  
в любви начав ловить воришек,  
нарушите весь этикет.

Нет, вы, наоборот, приятны,  
вы не чума и не тюрьма.  
Бесстрастно говоря «приятель»,  
вы та, которой суть темна...

*1990*

\* \* \*

Изменчиво, непостоянно  
всё в мире. Так и норовит  
сказать о том, что очень тянет  
заплакать осенью навзрыд.

Где скрыться, как переиначить  
тебя, октябрь, я не пойму,  
так ясен ты, так много значишь,  
пришёл как сон, но — наяву.

Меж голых беззащитных веток  
вдруг стало видно далеко.  
Прощай, о ветренное лето;  
хоть и не плачу, в горле ком.

Томящее молчанье леса.  
Печальный тихий листопад.  
Скажи, умчалось сколько вёсен,  
скажи? И все ушли назад.

Иду по жизни. Путь неровен.  
Изменчив путь. Я ослеплён.  
И упаду, и встану снова,  
и встану в рост. Я возрождён...

*1990*

## ОВРАГ

Люблю овраг и лопухи.  
Овражным божеством храним я.  
Они как радость, как стихи  
в овале дня необходимы.

И кто их кроме воспоёт,  
лишь я шепчу мою молитву.  
Годов моих весёлый лёт  
меня зовёт, зовёт на битву.

Люблю вас, милые стихи,  
вы для души опорой были,  
и, как овраг и лопухи,  
поныне мне не изменили.

Бежит тропиночка в овраг,  
кастальский ключ в овраге бьётся.  
Стиху внимает друг и враг —  
улыбкой в душах отзовется.

Увы, не так уж много дней  
во времени моём в запасе.  
Как жаль — никто не скажет мне  
о часе, тем конец не скрасит.

Люблю людей, люблю, люблю,  
и пусть они меня не любят.  
Овраг, ты — роковой уют,  
а радость, всё-таки же, — люди.

1990

---

\* *Вся Чувашия изрезана речушками да оврагами.*

\* \* \*

Ах, жалость, ах, жалость...  
Перо моё пишет  
о близком, о дальнем...  
пожалуйста, тише.  
Какие сравненья,  
какие боренья!  
Какие созвучья,  
какое волненье!

Наполнен мой парус  
и ветром, и светом.  
Есть нечто шальное  
в скольжении этом.  
Прощайте, прощайте!  
Печально и грустно  
скольжу-ухожу,  
как уйду — не вернусь я.

Ушёл. Ну и что,  
без меня стало хуже?  
Я был или не был,  
кому это нужно?  
Меня не жалейте,  
себя вы жалейте,  
совсем не по мне,  
по себе слёзы лейте...

*1990*

\* \* \*

Нет даже тени радости в глазах,  
не то что полыхающей любви.  
Никто, ничто не возвратит назад —  
лес свален навзничь, человек убит.

Мамона-божество — как злой недуг,  
как ржа для мира. Это понял муж  
Ликург, красавец, древней Спарты друг.  
Он мудрый был и озорник к тому ж.

И пресекалась падкость до деньги,  
а особливо — алчность. Это зло  
всех разъедает, всех, и в наши дни.  
Ликургу повезло, нам не везло.

Но кто же виноват: народ или царь,  
или бог? Конечно, да! Конечно, нет!  
Бес бесится, не ведая конца,  
но Человек... он чувствует свой конец.

В преддверии конца ты слёз не лей.  
Ты — Человек во времени своём.  
Наносное, ненужное смелей  
отбрось, гори негаснущим огнём.

*1990*

\* \* \*

Хоть рождён ты не львом, серой мышью,  
с ним вступаешь в один хоровод.  
Всех, ну всех обогнать ты стремишься,  
в том числе и себя самого.

Раб корысти — каким бы ты ни был,  
чуток, ласков, лоялен, но — раб.  
Омерзительно то, что ты в нимбе  
правдолюбца, чему сам не рад.

Потому как и богу, и людям  
ведь известно: не правда — твой дом,  
а сплошная неправда; и люто  
ненавидишь ты правду о том.

Лишь когда подойдёт к изголовью  
неотступное небытие,  
вдруг раскроется тяжкою новью —  
как никчемно стремленье твоё.

*1990*

\* \* \*

Сомнению подвергнув всё и вся,  
я и себе не верил, сомневался,  
но уходить ничуть не собирался,  
и оставаться было мне нельзя.

Принявший яд, с отравою питьё,  
я оступался, погибал от жажды,  
но не погиб — спасали не однажды  
меня сомненья, мужество моё.

Восстал. Деваться было мне куда?  
Кричал. Не затаил я заблужденья.  
Стреляйте, бейте без предупрежденья —  
не стану на колени никогда.

Пусть упаду насквозь пронзённый, пусть,  
прервав последнюю в сей жизни песню.  
И смерть свою подвергну я сомненью,  
и от себя — убей — не откажусь.

*1990*



## МЕЧТА

Когда теряется надежда,  
когда жизнь бесит и гнетёт,  
о, где ж ты, радость, где ты, где ты,  
где та, которая спасёт?

Она войдёт походкой зыбкой,  
промолвит слово не спеша, —  
какая нежная улыбка,  
какая светлая душа.

На ней сияние крылатой  
ничем не смятой белизны.  
Всегда бывает ненаглядной,  
всегда в ней что-то от весны.

Крадётcя смерть не как ошибка,  
не отступая, не спеша.  
С ней спорит женская улыбка,  
неженски твёрдая душа.

И вдруг растает сумрак теней,  
губивших светлое в тебе.  
И ты поднимешься с коленей  
в своей изменчивой судьбе.

*1990*

## КНЯЗЬ

Как отчуждён я... Пусто. Пусто.  
Замкнулся круг, друзья, друзья.  
Не я вас предал, вы, но пусть я  
виновней буду всех, пусть — я.

Рук не протягивать спешите,  
не узнаю я ваших глаз.  
В доверье отказав, смешите.  
Я сам давно не верю в вас.

Нетвёрдо по земле идёте.  
Не гаснет свет от неудач.  
Вам голод, как и мне, не тётя,  
не дядя также и палач.

Всё ж обрекли меня на голод,  
убили, выдав палачу,  
навек проник мне в душу холод,  
но тем же я вам не плачу.

Хочу запомнить вас другими,  
в потоке времени, друзья,  
но понял: вы непоправимы —  
меня предавшие князья.

*1990*

\* \* \*

Искали душу общую всегда мы,  
уже к ней прикоснулись, дорогой,  
и вдруг — такое! Всё — мираж сплошной.  
Мир повредился. И не сгинуть дабы,  
душа ушла, остался труп живой.

Всеобщее, казалось, счастье рядом —  
лишь руку протяни, оно — в руке.  
В эпоху СПИДа, съездов и ракет  
пошло всё это сразу как-то прахом,  
изрыгнув слово модное «пакет».

Душа ушла. В пространствах бесконечных  
скорбит теперь у бога на виду;  
сломались её крылья на беду,  
осыпанные звёздной пылью вечной.  
... Испытываем дух мы как в бреду.

*1990*

\* \* \*

О счастье написать — несчастлив,  
о свете — на дворе темно.  
Сейчас ли опишу, сейчас ли  
и то, что вдаль унесено.

Но не смогу, но не смогу я  
всю боль, притихшую пока,  
лесной кукушкой кукуя,  
бесстрастно мимо гнать, строка.

Я и верну её, продвину,  
и подниму — чтоб душу жгла,  
чтоб память повела, нашла  
всех тех, кто съел меня безвинно.

*1990*

\* \* \*

Закон любви не знает снисхожденья.  
От счастья умереть готов был каждый день я,  
но сердце говорит: на всё махни рукою,  
повенчан со стихией ты другою.

Важней любви она? Что это за стихия?  
Банален мой ответ: пишу стихи я,  
и их поток идёт неотвратно,  
в словах моих таится, чую, сила.

Таится, чую, гибель от восторга,  
но погибать не хочется вот только,  
и в этом утверждаюсь каждый день я —  
закон любви не знает снисхожденья.

*1990*

## СВЕТ

И понял я: сильнее нету,  
сильнее света ничего.  
Родился по велению света,  
живу и говорю: «Живой».

Как час придёт уйти навеки —  
придёт в Нью-Йорке иль в Москве —  
всё, всё едино, человеки,  
во всём один единый свет.

И плоть моя — во власти духа,  
а дух всемогущ, свет есть дух —  
источник жизни, прямо в ухо  
кричащей: «Дай еду! Еду!»

Мы ль неразумны — прах из праха?  
Себя я духом осознал.  
Себя я в руки не из страха  
Отцу всевышнему отдал.

Всё сущее есть дух, бесспорно,  
дух мой нигде, дух мой везде.  
Я вижу вечность, вижу бога,  
подобен богу и звезде...

*1990*

## МОИ ПРИЗНАНЬЯ

Ах, это вы, ах, это вы,  
мои признанья стенам этим?  
Да, я плохой, да, я, увы,  
сам виноват, и в том — в ответе.

Но как бы ни было, я рад:  
терпел не только неудачу,  
имел успех, и говорят,  
что даже был хорош — впридачу.

Не потому ль живут всегда  
и взлёт, и поиск, отступленья  
почти-что рядом; коли так —  
соседей и заблужденья.

Я заблужденья не таил,  
все промахи свои я знаю,  
меня гнетут грехи мои,  
теперь всё-всё я понимаю.

Ушедший поезд не придёт,  
ушло и лето — не вернётся.  
О стены милые, я тот,  
кто старый стал, кто в муках бьётся.

Смешон и глуп иной вопрос,  
я и не жду от вас ответа,  
всё разбросал и в тьму унёс  
какой несправедливый ветер?

Ошеломлённо закружив,  
уводит и меня туда же.  
... Ужель я есть, ужель я жив?  
Какая крупная удача!

*1990*

\* \* \*

Не давая обета, его не нарушу...  
Не сулил я тебе наслажденья любви,  
и люблю, как когда-то, не тело, а душу,  
и люблю свет сознания в глазах я твоих.

Оттого в моём сердце светло бесконечно,  
навсегда я свободен, свободна и ты.  
И люблю я тебя, божество, тихо, нежно,  
убежав от постыдных страстей, маеты.

Ты — Свобода, Любовь. Словно высшая воля  
ты отныне и вечно в судьбе для меня.  
Я творю и себя, и судьбу, я не болен  
боле духом, и боль — след угасшего дня.

*1990*



\* \* \*

Нет, верить в бога — мудро, благородно,  
вы совестливы, светлы, с вами — бог.  
Религия — не опиум народу,  
не угнетённой твари вздох.

Ищите бога, только в боге — правда,  
духовная земная благодать.  
Не жизнь, когда нож точит брат на брата.  
Нежизнь не может жизнью стать.

*1990*

\* \* \*

Как трогательно девушка мила,  
возвышенно легки её движенья.  
Как незаметно глазу отвела  
рукою паутиночку от шеи;  
к богатствам не имея отношенья,  
богато одарила, расцвела.

Исполненный любви к её игре,  
я верю в красоту неистребимо,  
я верю в правоту её, я жрец  
любви бессмертной, хоть и быть любимым  
мне не пришлось, любовь всё как-то мимо  
меня шла, улыбаясь на заре.

Запомни этот животворный жест  
её руки, играющей Шопена,  
и таинство откроется душе,  
нахлынет стыд, забудется измена,  
не вспомнится обманность и подмена  
и в чувствах, и в друзьях, и вообще.

*1990*

## ДВАДЦАТЫЙ ВЕК

Двадцатый век счастливым кто назвал?  
Не тот, кто мир весь принял за болвана?  
Никто, нигде и никогда не знал  
подобного всемирного обмана.

С великой истиной связав судьбу,  
кому доверились, чему, о боги?!  
Куда мы шли, куда пришли? Забудь.  
Как фантастично это и убого.

В духовную свободу, в благодать  
стремились, а была дорога наша  
дорогой в никуда, да, в никуда,  
где ни штанов, ни песен и ни каши.

Считали сдуру подвигом свой путь,  
и занимались самоистребленьем.  
И наш экономический абсурд  
всем объявляли сказочным явленьем.

Живёт в коммунистическом раю  
народ без совести, без угрызений,  
без внутренних духовных потрясений,  
живёт... у бездны мрачной на краю.

*1990*

## ПРИРОДЫ ЛИК

Прекрасное, великое  
я вижу там, где критик  
в своих заботах мелких  
всё ж ничего не видит.  
Богатство обретаю  
я в том, мимо чего ты,  
тип тёмный, пробегаешь  
и пуст, и нищ... тревожно.

Этюд, эскиз, рисунок —  
природы лик, особо  
скажи такое верное  
и нужное мне слово,  
взыскиваемое мною  
о Радостном, Любимом,  
Единственном, Желанном,  
но как бы неуловимом.

О, лик природы, совесть  
души моей, как часто,  
как постоянно видеть  
хочу тебя сейчас я,  
обогащаю душу,  
обогащаю разум:  
неисчислимо много  
сокровищ — мне на радость...

*1990*

## МЫ

1.

Нетленны пребудьте  
красоты природы.  
И мы, хоть уроды,  
в ночной страшной жути  
чудесной свирели  
звук тонкий и сладкий,  
любимейший, страстный  
услышать сумели.

2.

Вот лист, как орнамент.  
Изящество, тонкость,  
изысканность, точность  
легко распознали.  
Скоты мы, конечно,  
конец всё ж пугает,  
бессмертным бывает  
лишь дух вековечно...

*1990*

## ВЕСЕЛЬЕ В СЕБЕ

Заботы гнетущие строги.  
Суть жизни искали мы в чём?  
Единственный смысл и уроки  
и правду отколь извлечём?

Свет ласковый нас озаряет.  
Прелестное веретено,  
прядущее музыку рая,  
в медлительность приведено.

От этого вспыхнет реальность,  
которую ни осязать,  
ни видеть нельзя, но как данность  
она несомненна, друзья.

Знаменьем, залогом и знаком  
нюансы всех дивных тонов  
пребудут — и я одним махом  
в рай чувств перебраться готов.

Веселье в себе для поэта  
на этой на грустной земле  
единственно стоящим цветом  
является тысячи лет...

*1990*

## ШОПЕН

Интимно и меланхолично  
под этот ручей переливный  
таинственных звуков лиричных  
предчувствую радостный ливень —  
стихий торжество в моём сердце,  
бушующих несказанно  
светло и прекрасно и странно;  
предчувствую: он — пронесётся;  
и скоро потом приутихнет,  
затихнет совсем и покинет  
меня, моё сердце тот ливень  
под этот ручей переливный...

*1990*

## ИГРАЮТ ШОПЕНА

То ли играют Шопена,  
то ли мы сами Шопен,  
так хорошо нам, что время  
будто бы без перемен.

Слаще мне скрипки старинной,  
слаще вина, денег, шлюх  
музыка родины милой —  
шорох дождя, ветра шум.

Шелест листвы, вод сиянье,  
птица, летящая в ночь,  
тихое неба мерцанье,  
боль, уходящая прочь.

Нежно, таинственно, сильно  
взят был навечно в полон,  
всюду с собою носил я  
звуков чудеснейших звон.

Сердцу открытому рано  
стало защитой, как щит,  
всё, что душевные раны  
так исцеляет, щадит.

... Так отдыхает, приходит  
сердце в себя и душа, —  
всякая горечь проходит,  
твёрже становится шаг.

*1990*



Тодубе



## ЛУННАЯ СОНАТА

### 1.

#### **Allegro**

Вечер, вечер пришёл!  
Небо обуглилось тучами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Месяц, вынырнув сзади меня,  
на глади реки блеснул.  
Ветер весну с деревьев снял,  
по берегу понёс весну.

Мне, пацану, не раз говорили:  
и в кого я такой на свете?  
У меня не лицо, а рыло,  
в голове же — какой-то ветер.

Говорили в детстве, после...  
Тихо, тихо зашёл домой —  
будто взрослый и будто не взрослый,  
а со мною — и ветер мой.

Виолончель грустит, четырёхструнная виолончель.  
Четыре ветра прячутся там, спрятались в щель.  
Три старших брата выпить хотят, нет денег,  
а младший, как дитя, бедняга, плачет — очень жаль,  
и, силясь сказать братьям старшим слово,  
он пуше прежнего и жальче плачет снова.

Вечер, вечер пришёл!  
Небо затянуто тучами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Младший о неге грезит, его тоска снедает.  
Молнией грозной вспыхивают синие дали.

Месяц, вынырнув вблизи меня,  
на лоне реки блеснул.  
Ветер весну с черёмухи снял,  
по берегу понёс весну.

Мне, мальчишке, давно говорили:  
и в кого я такой на свете?  
В сердце — огонь. Ничего. Поправимо.  
В голове ж — пустота, ветер.

Говорили в детстве, после...  
Как сын блудный, пришёл домой —  
будто взрослый и будто не взрослый,  
а со мною — и ветер мой.

Тихо, тихо вошёл... Без света,  
без звука сию и слышу...  
чу... слышу... играют... звуки...  
пианиссимо... слабо... кротко...

Чуть, чуточку изменились...  
пиано... всё так же спокойно...  
Бездумно, слегка размышляет,  
лепечет, радуется и утешается  
пианино...

Но вот вдруг в тишину,  
в вечер этот врывается нечто —  
дрёму чувств разгоняя,  
о тревогах души станет печься.

Чёрно-белая музыка,  
чёрно-белая.  
В светлых струях сквозит  
сажа чёрная.

Что-то наскучило,  
что-то вдали оставляю,  
в страх какой-то впадаю;  
а в небе — тучи за тучами.

Мрачны тучи, ой, мрачны.  
Мрачны звуки, ой, мрачны.  
Руки белые — лебеди.  
Руки белые — в трепете.

Кольхаются и ныряют,  
реют соколом и летают,  
мчатся как олени, —  
в судороге о землю бьются.

Бегите! Эй, убегайте!  
Буря! Ураган! Град!  
Гром по всему небу! —  
фортиссимо!!!

Сердце наружу рвётся, стихию эту завидев.  
Сердце стучит и бьётся и всхлипывает от обиды.

Вечер, вечер пришёл!  
Небо разгромлено тучами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Нету конца и края...  
Как повенчать — не знаю,  
безмерные два начала  
радости и печали...

## 2.

### **Andante**

Я поэт, и помыслы мои чисты.  
Я поэт, желания мои просты.  
Отныне я слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я слушаю только себя.

Со мной заодно луг, камыш и река.  
Со мной заодно небо и облака.  
Отныне я слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я слушаю только себя.

Я поэт, и помыслы мои чисты.  
Я поэт, желания мои просты.  
И по божьему с неба завету  
льётся свет — слышу музыку света.

По велению света родился,  
возрастал, возмужал и трудился.  
По велению света творю.  
По велению света умру.

Бейся, сердце, слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я сам сотворюю себя.  
Вне меня и вне света ничего больше нет.  
Всё едино, во всём один свет.

Луг за окном желает стать светом,  
и камыш, и река желают стать светом.  
Всё сущее — единый пульсирующий ток,  
сверкающий вечный света поток.

И небо стать светом желает,  
и люди стать светом желают.  
Бейся, сердце, слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я сам сотворюю себя.

Все чувства и мысли, желанья и знания  
вне света всегда — без значенья, названья.  
Я поэт, и помыслы мои чисты.  
Я поэт, желания мои просты.

Я знаю: телесное — скоротечность.  
И в это мгновение вижу я вечность.  
И в это мгновение дух мой нигде.  
И в это мгновение дух мой везде.

И дух — это свет, а свет есть любовь,  
а свет и любовь — это бог.  
Проснись, человек, ты не спи в этот миг.  
Проснись поскорей, ты забыл о любви.

Отныне я слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я слушаю только себя.

Отныне всё тело моё — высший разум:  
и тело, и дух — вечный свет сразу, разом.

Я поэт, и помыслы мои чисты.  
Я поэт, желания мои просты.  
Любовь есть добро, ибо — свет, свет — любовь.  
Желаю любить, ведь любовь — это бог.

Мне надо встряхнуться, прозреть как-нибудь.  
На берег иду, оставляя избу.  
Черёмуха светится радостным светом,  
меня осеняя своим добрым цветом.

И сыплется цвет на меня, на тебя...  
Я себя устыдился, презрел я себя:  
о дева, прости, нет тебя тут, ты — призрак.  
Ты — в сердце моём, то — наивности признак.

Пресветлое чудо, от меня далеко.  
И мне одному как, о друг, нелегко.  
Тебя вовсе нету пока, друг, на свете,  
но я всё ж надеюсь найти тебя, встретить.

Бейся, сердце, слушаю, сердце, тебя.  
Отныне я сам сотворяю себя.  
Вне меня и вне света ничего в мире нет,  
всё едино, во всём один свет.

Живу по велению света.  
Люблю по велению света.  
По велению света творю.  
По велению света умру.



Отныне прозрел, не простак отныне.  
И прочь от меня, слабость, унынье.  
Я поэт, и помыслы мои чисты.  
Я поэт, желания мои просты...

### 3.

#### Scherzo

При самом ярком лунном свете,  
при ярком лунном свете, да —  
река, деревня, — всё на свете  
великолепней, чем всегда.

Спускаюсь тихо, напряжённо —  
взглянуть на ведьм хотя бы раз.  
Плесканье в омуте бездонном,  
и вот — берёза. Вот он — вяз.

Косматы тени их и страшны,  
заньла взмокшая спина.  
Кто проложил тропинку? Раньше  
не попадалась мне она.

Стоит избушка кособоко,  
окошко в ней горит, смотри!  
Постой, ко мне шагает кто-то,  
ах, ведьма — что ни говори!

Да нет — соседка, в платье белом,  
как снег... неужто померла?  
Ступает, путаясь, несмело,  
колышется над нею мгла.

Сижу-дрожу. Не хрустнет ветка,  
а гладь воды светлым-светла.  
Золотовласая соседка,  
не раздеваясь, поплыла...

Но кто поверил в те дела,  
того наивность подвела.

Сосед... Он сон уж видит третий.  
А я — один? Была нужда  
бродить при ярком лунном свете  
там, где глубокая вода,  
при ярком лунном свете, да!

#### 4. **Finale**

Вечер, вечер пришёл!  
Тучи очистились кучами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Вечер. На небе луна  
так высоко над землёю.  
Счастья округа полна, —  
не описать, что со мною.

К ней и за нею душа  
синей волною взлетела.  
Вслед я и сам, весь дрожа,  
мчусь в поднебесии где-то.

Кажется, из жизни всей  
крепко запомню конкретно

вплоть до последних я дней  
с светом в душе только это.

Тонко звенит, тонко-тонко — нигде,  
тонко звенит, тонко-тонко — везде.  
Тонко звенит, тонко-тонко, стострунно.  
Тонко звенит, тонко-тонко — свет лунный.

Зов его — радость, веселье и грусть.  
Зов его знает душа наизусть.  
На светлых струнах виолончельных  
грезит весною душа беспредельно.

Вечер, вечер пришёл!  
Небо не занято тучами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Вечер. На небе луна  
так высоко над землёю.  
Счастья округа полна, —  
не описать, что со мною.

На берегу я крутом.  
Воздух здесь чист, свеж и тонок.  
Видно и слышно кругом  
так далеко, что я — в стене.

Чудится голос вдали —  
меццо-сопрано серебристый.  
Чу... си бемоль... Светлый лик  
девы молодой сердцу снится.

Сердце стучит и бьётся, становится сильнее.  
Сердце наружу рвётся, от радости сатанея.  
Чу... в синеве запропавшего дня  
слышу мелодию таинственного огня.

Вечер, вечер пришёл!  
Небо смеётся над кручами.  
Вечер и что-то ещё —  
светлое, самое лучшее.

Ух... мощь какая в луне!  
Как неподдельно звучанье  
песен небес в вышине —  
тайн беспредельных дыханье!

Яркая луна  
чарами полна.  
Щёлкает и всё смелей —  
в чаще соловей.

Я очарован навечно  
жизнью моей скоротечной.  
Жгу я, надежду храня,  
сердце своё, радость вешнюю,  
у золотых врат огня...

*1964, апрель-май*

# ЗОЛОТАЯ МОЯ КОЛЫБЕЛЬ

## 1.

Я прокрался тихо, словно кошка,  
в сонный дом — и не зажѐг огня.  
Добродушный дождик осторожно  
всю дорогу подгонял меня.

Путь неблизкий был, и шѐл я долго.  
А теперь уж мой случайный друг,  
от меня отставший рядом с домом,  
одинокое шелестит в саду.

Семь или восемь мне годочков было, —  
рановато бегать по ночам.  
Больше чтоб под ложечкой не ныло,  
корку хлеба шарю по углам.

Вдруг впотьмах смахнул я на пол ложку.  
«Брысь! — раздался голос в тишине. —  
Что за надоедливая кошка!»  
«То не кошка, это — я, анне\*».

Без тебя мне было очень горько,  
очень-очень плохо вдалеке...»  
Я уже не думаю о корке,  
прижимаюсь к ласковой щеке.

А она, анне, ещё спросонок  
полустрого: «Горе ты моѐ...

---

\* *Анне* (чув.) — мама.

Настоящий мокрый лягушонок...  
Ну-ка, живо скидывай бельё!»

Скинул я, лежу переодетый  
на полатах, где братишка спит.  
Только дождик — мой попугчик — где-то,  
всё меня жалея, шелестит...

## 2.

Куда ни глянь — лесная даль и синь.  
Мой отчий край, ты — колыбель моя.  
Берез и сосен, может быть, и сын,  
но нелюбимый был, наверно, я.

Мятежен и суров лесной уклад.  
В бору — раздолье непокою.  
Его напев с торжественной тоскою  
живёт с качаньем сосен в лад.

Деревья держат неприступный фронт.  
Мечты мои уходят в поднебесье,  
где облако плывёт неслышной песней  
за дымчато-туманный горизонт.

А следом солнце катит на ночлег.  
Сперва оно — пожар, а сядет — головня.  
И остаётся лишь лесов разбег,  
величием пугающий меня...

В свои семь лет я был неумолим.  
И, как-то сев верхом на коромысло,

вообразил, не понимая смысла,  
что оседлал... Пегаса вместе с ним.

От тех причуд ещё я не свободен.  
На этот счёт мне шибко повезло.  
И так же манит всё: высь, облако на своде,  
Савгачево — подгорное село.

### 3.

Я всех любил, меня не все любили, —  
фельетониста лавры нележки:  
статьи мои бичующими были  
угрозам «быть побитым» вопреки.

И часто, окружённый детворою,  
я слышал заголовки из газет:  
«Сумел Иваныч», «Рыцарь мордобоя»...  
Не зря я сор вытаскивал на свет.

Перо моё разительно ругало  
таких, кто не по-нашему живёт.  
И нынче, как ни встречу шурсухала\*,  
так он меня по отчеству зовёт.

Юнец самонадеянный, зелёный —  
в Савгачеве читал свои стихи.  
А в них — любовь, влюблённая, влюблённый  
да лунный сад, да третьи петухи.

Взаправду ли, а может быть, авансом,  
порою зал всю рукоплескал.

---

\* *Шурсухал* (чув.) — белобородый, мудрец.

Я так орал, что голос надрывался,  
и в гордой тайне славу добывал.

Не публика виной, не обстановка,  
что перестал в том зале выступать.  
Рукой махнуло детство. Перековка.  
Пора себя поглубже испытать.

Пора, пора... По чередѣ ушибов,  
друзей теряя, находя врагов,  
моментами за пеленой ошибок  
не видя близлежащих берегов.

Не приняла столица — Чебоксары, —  
слабак, мол, чтоб выслушивать всерьѣз.  
А тут в любви посыпались удары.  
Я выдал замуж ту «любовь» без слѣз.

И слава богу... Девушка бесчестная  
искала с бабой подлой наравне  
не дух высокий и любовь бессмертную,  
искала подкаблучника во мне.

Ещё не раз потом надежда слепла  
и висли крылья... Горечь так остра...  
Остался в горле только привкус пепла  
впустую прогоревшего костра.

В деревню по савгачевской дороге  
я еле-еле ноги доволол.  
Спасибо другу — он меня в тревоге  
доставил под больничный потолок.



#### 4.

Привольный край! Поклон от сына!  
Я жив-здоров, друзья мои!  
И хватка есть, и ум, и сила,  
чтоб снова ринуться в бои.

Но поле битвы подождёт.  
Пока что надо в заточенье  
мне приниматься за ученье.  
Без знаний — нет пути вперёд.

Прости за дерзость, alma mater, —  
Казанский университет:  
ты — мой трамплин, а я — на старте,  
готовый радостно взлететь.

Прощайте, модницы-девчата,  
краса и гордость здешних мест,  
хотя и будет трудновата  
без вас нести свой тяжкий крест.

Нет, не флиртуйте, проходите,  
я навсегда оставил флирт:  
однажды хоть и чуть не влип,  
монах отныне, как хотите.

Быть может, это вам смешно?  
И цель моя близка к причуде?  
Но не грешить ведь не грешно?  
Зато я после выйду в люди.

Я на карьеру не тяну,  
мой идеал работы — лошадь.

Работать — и тогда, быть может,  
я выдам песню не одну.

... Людской заботой вновь отныне  
расправлено моё крыло.  
Как мне сегодня повезло,  
пусть вам всегда везёт, родные!

Ты, Саврашбуть, — мой лучший час.  
Савгачево — моё влечение.  
Приходит в душу облегченье,  
как только вспоминаю вас.

## 5.

Что мне Христос — поспал себе немного,  
проснулся и умчался в небеса...  
Бывали и со мною чудеса,  
хотя беру начало не от бога.

Вот как-то раз любовь нашёл я вроде,  
но та — другого вздумала любить.  
Душа мертва, решил я, и выходит,  
что надо тело глупое убить.

Но стоило взглянуть мне в поднебесье,  
и начал я другое понимать:  
коль нет души, так значит умер весь я,  
зачем на тело руку поднимать?

Вторично чуть не превратился в труп,  
когда по мне один прошёлся критик.

А пригляделся — «критик» просто глуп,  
само собой ему не до открытий.

Встряхнулся я и тут же встрепенулся,  
напоминая, видимо, орла.  
В глазах бедняги то ли лёгкий ужас,  
то ль пустота всегдашняя была.

А в третий раз я уходить задумал,  
почувствовав, что юность отцвела.  
«Зажги свечу», — сказал анне угрюмо,  
по древнему обычаю села.

Но мама зажигать свечу не стала:  
ещё-де зрелость будет впереди!  
Коль в жилах кровь гудеть не перестала,  
не стоит разум смертью беречь.

## 6.

Когда же сердце перестанет биться,  
в сырой земле я обернусь землёй.  
И золотые солнечные спицы  
уж никогда не вспыхнут надо мной.

Оставлю я друзей и домочадцев,  
незрелые и зрелые стихи.  
И, как бы ни кричали петухи,  
им до меня уже не докричаться.

Мне не бродить по шёлковым полянам,  
не тосковать по девичьей руке,

и, равнодушный к ласкам и обманам,  
для всех я буду где-то вдальеке.

И что тогда покой иль суета?  
И что тогда юродивый иль гений?  
Всё унесёт немая чернота,  
та, за которой никаких волнений.

Глупец! Да тут решение простое:  
всё сущее при жизни оцени —  
есть красота, любуйся красотой;  
талант имеешь, не держи в тени.

А я ещё как следует не жил,  
какая жизнь, когда одна бравада:  
спешить не надо было, я спешил,  
и медлил, где бы торопиться надо.

... Вот так прополощу я разум свой,  
и с новой силой загорится сердце.  
И вновь из бесконечности живой  
придёт мечта в тепле души погреться.

## 7.

Когда савгачевские ивы  
пьют сон из звёздного ковша,  
не раз проносится над ними  
моя незримая душа.

Зачем летает сокол-птицей  
она неведомой тропой?

С какой загадочной судьбой  
на встречу давнюю стремится?

Зачем вздыхает, жарко дышит?  
Что видит сверху на земле?  
Какие бродят ночью души?  
О ком тоскует много лет?

... В весенних почках — тихий шорох,  
и шорох что-то ворожит.  
А грустноватый месяц-сторож  
давно уж землю сторожит.

По парку песни льются звонко,  
танцует молодой народ.  
А восьмиклассница-девчонка  
совсем одна домой идёт.

О чём мечтает втихомолку?  
В какой готовится прыжок?  
Идёт девчонка-комсомолка,  
и на груди горит значок.

Но не уснуть ей дома скоро,  
раскинув волосы вразмёт,  
хотя и добрый месяц-сторож  
всё баю-баюшки поёт.

Мечты у девушки — не мелочь:  
жить надо так, чтоб пела кровь,  
и чтоб всегда за смелость — смелость,  
а за любовь — всегда любовь!

И хочет стать она как факел —  
гореть и освещать всем путь.  
Не хочет жить убого, жалко,  
а хочет широко шагнуть.

Мошь единенья постигая,  
мой жаждет дух. И я его  
навек-вечные вручаю  
мечте моей — той, огневой!

Так вот куда несёт незримо  
меня крылатая душа,  
когда савгачевские ивы  
пьют сон из звёздного ковша.

## 8.

Снова еду в милую обитель,  
где земные сказки гнёзда вьют.  
Грузовик устал или водитель —  
вёрсты слишком медленно бегут.

Нелегка вечерняя дорога.  
Да ещё — метель, бело кругом.  
Сотня километров в час — немного,  
тут же пятьдесят едва даём.

Сам-один я кузовом владею,  
если мёрзлых бочек не считать.  
И свищу, пою назло метели,  
но родимых Савраш не видать.

Фары, ну нащупайте скорее  
у дороги старенький ветряк.

Сил своих последних не жалея,  
побегу к нему я второпях.

А оттуда до родной деревни  
километров около семи.  
За оврагом выглянут деревья —  
и, считай, я дома, чёрт возьми!

Эй, машина, заверти колёса,  
там, у милых Савраш на виду  
кубарем я полечу с откоса,  
презирая снежную беду.

Но сперва я загляну украдкой  
по пути в Савгачево-село,  
и столбы вдоль изгороди шаткой  
приведут к окошку, где светло.

Задохнувшись, но душевно собран,  
у ворот предстану наконец...  
Здравствуй, Люся... человек мой добрый!  
Чуешь притяжение сердец?

Сколько снега — целые олёты.  
Ты не выходила. Нет следов.  
И мои исчезнут. А ворота  
ничего не скажут. Вся любовь...

Дальше, дальше... Вот моя округа —  
лес, деревня, тёплый отчий кров.  
До чего лирично стонет вьюга  
посреди задумчивых дерёв.

... Отряхну я снег с себя сторожко,  
веником по валенкам пройдусь.  
Прокрадусь я в избу, словно кошка.  
Дома спят — без света обойдусь.

И, укывшись старой тёплой шубой,  
лягу я в запечной тишине.  
Поутру походкою бесшумной  
с одеялом подойдёт анне  
и укроет...

Друг ты мой сердечный,  
сколько раз ко мне являлась грусть  
с думою о жизни быстротечной —  
вдруг к тебе я больше не вернусь?

... Грузовик фырчит. Ухабы, ямы.  
Стой! Ведь и проехать можно так!  
Подожди ещё немного, мама.  
Здравствуй, покосившийся ветряк.

*1964*



## ЖИВУ!

### 1.

В лихолетье пришёл,  
трудно пришёл —  
думали, не появлюсь на свет.

Был невзрачный такой,  
худосочный такой —  
думали, не вырасту.

Бесхитростный очень  
и наивный очень —  
думали, не жилец, пропаду.

Ни рожи у меня,  
ни кожи у меня —  
думали, невест я не найду.

Ни имени нет,  
ни ума нет —  
думали, дня доброго не увижу.

### 2.

Надоело слушать —  
до отрыжки.  
Сколько можно терпеть! —  
плачу, слышь-ка.

Пораскинул умом  
на досуге —  
нет покоя, жизни  
от вас, суки.

Беды давят теперь  
всё ж не очень.  
Чёрных слёз не стало —  
светлы очи.

### 3.

Вот родился и живу вот,  
чёрт возьми.  
Вышел в люди и живу,  
чёрт побери.  
Жив остался, не подох ведь,  
чёрт возьми.  
Стал женатым и живу,  
чёрт побери.  
Да! Бог не дал дня доброго,  
чёрт возьми.

### 4.

Оттого, что шлюх зовём б...ми,  
наглых называем наглецами,  
глупых называем дураками,  
пьяных называем алкашами,

умный хочет, чтобы умным звали,  
страстный хочет, чтобы страстным звали,  
сильный хочет, чтобы сильным звали,  
статный хочет, чтобы статным звали.

Но, познав, как умный стал безумным,  
страстный стал со временем бесстрастным,  
сильный стал беспомощно-бессильным,  
статный стал горбатенько-нестатным,

шлюху сразу б...ю я назвал,  
наглым обозвал я наглеца,  
глупым обозвал я дурака,  
пьяным обозвал я алкаша.

## 5.

Смотреть хочу  
в добрые глаза.  
Плюнуть хочу  
в подлые глаза.

Ах, как мало  
людей добрых, друг.  
Ах, как много  
людей подлых, друг.

Видеть хочу,  
кого я люблю,  
и не хочу,  
кого не люблю.

Ах, как мало тех,  
люблю кого.  
Ах, как много —  
не люблю кого.

Петь я хочу  
в радостные дни,  
плакать хочу  
в тягостные дни.

Ах, как мало  
радостных тех дней.

Ах, как много  
грустных, скорбных дней.

**6.**

Будь вы с горем, полминуты б  
не стояли без нытья.  
Но вам с горем не бывать,  
и не ныть, и не стонать.

Будь вы с песней, полминуты б  
не стояли, чтоб не петь.  
Но вам с песней не бывать,  
и не петь, и не страдать.

Будь танцор вы, полминуты  
не стояли бы столбом.  
Вам танцором не бывать —  
не плясать, не танцевать.

Будь поэт вы, с полминуты,  
фарисеи и иуды,  
постеснялись бы меня.  
Вам поэтом не бывать,  
совесть, честь и стыд не знать.

**7.**

Раз родился на свет,  
расти давай —  
мать-природу люби  
и уважай.

Есть-пить дают тебе,  
ублажают,

в чистом платье в школу  
провожают.

Знаниями тебя  
так начинают,  
чтобы был ты во всём  
молодчина.

Раз честь оказали,  
цени давай —  
отца и мать люби  
и уважай.

Мы их надежд крылья  
в эту пору.  
Всей чувашской земле  
мы опора.

Всей России должны  
мы помогать —  
пахать станем, строить  
и защищать.

Раз нам доверяют,  
трудись давай —  
мать-родину люби  
и уважай.

## 8.

Мрази что ли много?  
Что же делать?  
Кто ж виновен в этом  
без предела?

Когда ж мрази, когда  
мало было?  
И впредь будет много,  
учти, милый.

И бичевать надо,  
и помогать.  
И сердиться уметь,  
и меру знать.

Радоваться уметь,  
веселиться —  
молодость не вечно  
будет длиться.

Ешь, пей, пока, друг мой,  
не унывай,  
и петь начни тут же,  
и танцевать.

И любить бы надо,  
и ревновать,  
и повздорить малость,  
потом — прощать.

Ах, жить надо, друг мой,  
пока живой.  
Нету жизни, друг мой,  
там, за чертой.

И жить надо долго,  
а не средне,

до того, как уйдёт  
луч последний,  
до того, как с очей  
луч последний  
уйдёт и погаснет —  
случай редкий.

Хоть и сил никаких —  
жить, жить надо.  
Хоть, пусть, неохота —  
жить, жить надо...

### 9.

Ну к кому ж пойти мне,  
как не к тебе,  
мой дорогой?

И с кем потолковать,  
как не с тобой,  
мой дорогой?

### 10.

Я одинок,  
ты одинок,  
есть ли кто  
более одинокий?

Я скука.  
Ты скука.  
Есть ли кто  
более скучный?

Ты сирота.  
Я сирота.  
Есть ли кто  
более сиротливый?

Ты молодец.  
Я слабак.  
Есть ли кто  
более слабый?

Ты умница.  
Я дурак.  
Есть ли кто  
дурнее меня?

Я бедолага.  
Ты бедолага.  
Есть ли кто  
более жалкий?

Я бедняк.  
Ты бедняк.  
Есть ли кто  
более бедный?

Ты робкий,  
я робкий,  
ты смелым будь хоть,  
бедняжка!

## 11.

На лугу, говорят,  
змеи шипят,



может, и шипят,  
но редко шипят.

Такие, как я,  
особенно, как ты,  
может, и родятся,  
но редко рождаются.

## 12.

Бесхлебному хлеба  
дали бы мы,  
рваному одежку  
дали бы мы,  
бездомному угол  
дали бы мы,  
больному лекарство  
дали бы мы,  
одинокой мужа  
дали бы мы,  
красавице друга  
дали бы мы,  
бессчастному счастье  
дали бы мы,  
горемыке денег...  
не дали бы,  
на две руки одно дело  
дали бы мы.

Всё, что имеем,  
надо отдать.  
Что у нас есть, скажи,  
будет когда?

А нет чего, скажи?  
И что тогда?  
Всё, что есть на душе,  
надо отдать.

### 13.

Слово моё за слово не посчитали —  
думали, пустое оно.

Песню мою за песню не приняли —  
думали, не будет греметь вовсю.

Мечту мою в насмешку превратили —  
думали, бесплотная она.

Ложный путь мне подсунуть пытались —  
думали, не найду дорогу.

### 14.

Здравы будьте, что же,  
здравы будьте.  
Дни бегут-мелькают.  
Чутки будьте.

Не успеем хрюкнуть,  
жизнь застынет.  
Век промчится быстро,  
след простынет.

Пока живём, друзья,  
пока живём,

жить со смыслом надо,  
пока живём.

Осязая-чуя,  
мир наш чтите,  
как зеницу ока  
свет храните.

Здравы будьте, братцы,  
здравы будьте.  
Не теряйте света,  
стойки будьте...

*1976*

## ЛИСТОПАД

### Вступление

О, листопад, о, сердца жизнь,  
о, ветры, ветры вы осенние!  
Есть в вас и гибель, и спасение  
для листьев, для души.

Чу, заревом с деревьев чёрных  
слетают листья на меня  
и тихо, и неизречённо,  
в сём акте ветер не вина.

Я отрываюсь от себя  
в смертельный воздух, закричав,  
и осеняет листопад —  
прозрений поздних горький час.

Ведь надо знать, ведь надо жить,  
ведь в Возвращении — спасение.  
О, ветры буйные осенние,  
вы — радость для души!

### 1.

Осенний пустынный вечер.  
На западе — лента зари  
всё время багрова, зловеща.  
Спрячь петлю, душа, не дури.

Заря. Бесприютность. Дорога.  
Тоска безглагольных дорог.  
Как сладко душе и сурово  
и как заунывно, мой бог.

Ничто никогда столь властно  
не звало, не гнало её —  
с природой едина, согласна  
вот стала душа и поёт.

Убого. Печально. Душою  
молчу средь молчащих равнин.  
Увидел, узнал и нашёл я  
себя бесконечно своим.

Едва ль у равнины вершину  
найдем, запоздав в полумгле.  
О, как сохранить душу живу!  
О, как, помертвев, не истлеть!

## 2.

Уходишь, солнышко. Не уходи,  
не отнимай ладони света,  
постой, остановись, не дай грустить,  
о, удержишь на миг, на час, навеки.

Но золотой развеян сон...  
Как жгуч в огнях морозных ветер,  
как беспощаден небосклон,  
как неприятны ветви эти.

Трепещет лист, когда сюда  
по нитям звёздного крученья  
спускаются порой вечерней  
из мирозданья холода,

захватывая мощью сдержанной,  
чаруя красотой нездешней —

как непонятно и как странно  
глядеть в безмерное пространство.

Не умер лист. Вот листьев шёпот:  
«Смерть — белый ветер в тополях...  
О час наш судный... хорошо бы  
чтоб — волчи сумерки в полях...»

### 3.

Я вещь иль не вещь пою  
про листья и про жизнь мою;  
гадаю на осенней воде:  
что же случится в этот день,  
и куда занесут года...  
И умру я где и когда...  
Я верно иль неверно пою  
про листья и про жизнь мою?

### 4.

Не листья, слова молчания,  
не падают, а обмирают,  
слетая в рай, беспечно,  
немыслимо... удирают.

Гони же, ветер, сорный смерч  
в пустыне выжженной!  
Благословенна, благословенна смерть  
для новой жизни!

Повсюду мимо  
несутся черти,  
сребрятся нимбы  
над чёрной шерстью.

Падают, сожжены.  
А рядом, за кустом,  
света и тишины  
царство христово.

Где ты, юность — весна моя,  
зелень яркая, солнце ясное?  
Хорошо быть, хорошо быть молодым —  
хороводы на поляне, у воды.

Шире круг, шире круг!  
Выбирай себе подруг:  
на пляс,  
на куст,  
на глаз,  
на вкус!

Полушалок луговой,  
цветик маковый,  
отпусти меня к другой —  
покалякать надо мне.

Ах,  
не миновать головушке  
беды...  
Хороводы, хороводы —  
у воды!

... Куда же теперь,  
в какие дали?  
За горизонтами  
что увидали?

Чернеет листопад иконно.  
Слеза ли застит, та самая...  
О, светозарный, темны законы,  
о, листопад мой, душа моя.

## 5.

О неведомом счастья,  
о неведомой радости  
ты молилось так часто,  
сердце, всё лихорадочней.

Над речным и осенним  
лист трепещет шемящий...  
В Возвращеньи — спасение  
и болящее счастье.

Жизнь с природой — веселие  
душе нашей; а телу,  
ну а телу — лечение, —  
интересное дело.

Жизнь жестка без природы,  
а с природой гуманна,  
лишь для наших народов  
и грустна, и обманна.

Чище нету причастия,  
опроцается житель.  
Чрез свои ли несчастья  
стать счастливым, скажите?

Как бы ни были сонны  
у Обманщика вежды,



но венчайтесь венцом вы  
столь туманной надежды.

**6.**

Срываюсь!  
Прощайте, ветви, уют гнездовый.  
Срываюсь.  
Я — лист бездомный.

Уйду ли днём иль на рассвете,  
грустить не надо:  
всему приходит на белом свете,  
всему приходит время падать.

Ах, отболело!  
Прощайте, клёны,  
прощайте, люди, такое дело!  
Срываюсь в воздух раскалённый...

Вот свет... вот тень...  
Меня возвращает?  
Садится солнце. Меркнет день.  
Прощайте!

Уже лечу, осенний странник,  
лечу, погибели знакомый,  
несусь в пространствах над законами,  
над огородами и над странами,

совсем ничей, смеюсь и плачу,  
и сладу нет, и нет управы:  
хочу — вот так, хочу — иначе,  
хочу — налево, хочу — направо.

Вонзаюсь в тучку водянистую,  
и обдаёт дыханьем снежным,  
и ветер бьёт в глаза и режет,  
и липнут облачные нитки,

но миг — проносится ненастье...  
Вот солнце, грянув, ослепило.  
И обмер дух от гордой силы,  
и сердце дрогнуло от счастья!

О, смерть моя, свобода, свет мой!  
И золото — прах, и книги — вздорны,  
всё поскользнулось, нет отметок,  
кругом синё... и так просторно!

И дует, дует  
тёплым светом,  
и веет, веет  
вешним цветом.

## 7.

И ожил я, всего лишь час тому  
осенней стужей околованный,  
и вижу: мир прекрасен, потому —  
я всемогущ, и жизнь бездонна.

Я вижу: во вселенной величавой  
вовсю шумит весна, цветут сады,  
журчат ручьи, играет свет лучами;  
я — гость среди этой праздничной страды.

И всё беззвучно кружится, летит.  
Светил всё новых гроздьё наливаются.

Туманности сиреневые появляются.  
И — к цели, к цели все к одной, поди!

Водовороты яркого огня  
и карнавалы вещества — все к цели.  
И свадьбы... танцы ряженных... Веселье!  
Погрязли в радостях любви, маня.

Сосредоточие. Движение.  
Таинственное тяготенье к центру.  
Не знаю, означает что сие,  
но ясно понимаю: тяга к свету.

И в этот миг из слов я обнажаюсь,  
как осень отряхается от листьев,  
от праведных трудов; легко мужаюсь:  
сейчас достигну я всего, очнитесь!

Безмерно сердце. Как не потерял я  
опору? Как ничтожны все мои  
осенние тревоги, огорченья! Явно  
метель светил безмерности сродни.

Какие бездны в просветах! Начало...  
Конец... А где отсчёт всему начать?  
О, радость ощущенья чуда! О, ночами  
замучившая бесконечность чар!

Где всё, рождаясь, умирает,  
где всё без края и конца,  
и нет ни ада и ни рая,  
и нет предвечного творца!

И дует, дует  
тёплым светом,  
и веет, веет  
вешним цветом!

8.

Ты ль, болгарская сторонушка,  
ты ль, Чувашия овражная,  
скрылась вся в леса сторожкие?  
Одолела сила вражеская.  
Тучей бури, тучей солнечной  
истемнило дали синие;  
лётся песня, льнёт в подоблачье,  
там, где свет нездешней силы.  
Ветры буйные осенние  
по-над Волгою гуляют...  
Сторона ль моя, Рассеюшка,  
сторона ль моя родная.

9.

Не о славе пекусь,  
славы нету,  
ну, хорош ли я гусь  
в те моменты.

Нет бессмертия. Пусто.  
Есть религия света.  
С богом сумрачен пусть я.  
С богом — крышка навеки.

Мне печально и любяще  
светит лик Человека.

И того, и того много лучше  
мирозданье от века.

Через век, через край,  
через грязь, через кровь —  
глаз болящие раны  
отягчает Любовь.

В этот Свет из оков —  
над смертями и эрами —  
ныне, присно, во веки веков  
верую...

### Эпилог

И детство, и юность  
тугою  
нас связью связали.  
И честь,  
и всё озарилось тобою,  
о, Невечереющий Свет!

*1978*

## Содержание

*Михаил Сениэль. Своевременная автобиография* .... 5

### Стихотворения

#### Юные грёзы

Ожидание .....	75
Глаза .....	76
Прощание с летом .....	77
В школу... ..	78
Видение .....	79
Грусть .....	80
Юные грёзы .....	81
Оборванные струны .....	82
Сомнение .....	83
Тоска .....	84
Думы и мечты .....	85
Отзвуки .....	86
Предрассветные сны .....	87
Дождь в августе .....	89
В юные годы .....	90
Бури .....	91
Не Байрон .....	92
Прости .....	94
Ветер не слышит .....	95
Послание к Нине .....	96
Насмешка .....	97
Лунный свет на реке .....	98
Фантазёр .....	99
«Не правда ль...» .....	100
Воспоминание о друге .....	101
«Пусть в детстве...» .....	103
О труде .....	104
Юный коммунары .....	105
Последний вальс .....	106

На всю жизнь...	107
В родной школе .....	108
В родном краю .....	109
Доярка .....	110
«Ты думаешь...» .....	111
Певице .....	112
Городок .....	113
Костёр .....	115
«До свиданья...» .....	116
Хорошему мальчику .....	117
На Камском Устье .....	118
Первомайский привет .....	119
«О жизнь...» .....	120
Аксубаевский вальс .....	121
Восьмое число .....	122
Медсестре .....	123
Женщина с ребёнком .....	124
Казначееву .....	125
Шлюхи .....	126
Тюремный сад .....	127
Городок на Каме .....	128
Выпускнице .....	129
Пер Гюнт .....	130
«Я не первый...» .....	131
Моя любовь .....	132
Цель .....	133
Белый пион .....	134
Август .....	135
Лучи .....	136
Изменница .....	137
«Хочу я плакать...» .....	138
Дождь косой .....	139
Призывники .....	140
Рябинка .....	141
Любовь призывника .....	142
Улыбка .....	143

Селение .....	144
«Над головою встали...» .....	145
«От нежности...» .....	146
«Ты — песня...» .....	147
«Ты — чудо линий...» .....	148
Песня .....	149
Путь на Черемшан .....	150
Черемшанский мост .....	151
«Негу стужи боле!» .....	152

### **Восточные мотивы**

«Ты не стони, лоза...» .....	153
Семь звёзд Востока .....	154
Утешенье .....	157
Мотив .....	158
Тюльпан .....	159
Раскаяние .....	160
Ветер с юга .....	161
Светлячок .....	162
Гулистан .....	163
Жизнь .....	164
Богиня света .....	165
Звёздные выси .....	166
Я спросил .....	167
Звезда высокая .....	168
О мечта... .....	169
Что впереди? .....	170
Предвечерье .....	171
Тень .....	172
Прощание .....	173
«Сорвалась ещё одна звезда...» .....	174
«Не говорите мне...» .....	175
«В грандиозных делах...» .....	176
«Здоровья нет...» .....	177
«Я думал умереть...» .....	178



Юность .....	179
На берегу Волги .....	180
Осыпаются листья .....	181
Полёт .....	182
Волнение .....	183
«Схожу с ума...» .....	184
Признание .....	185
Джигит .....	186
Призвание .....	187

### **Целинный свет**

Устав .....	188
Музыка стройки .....	189
Комары .....	190
Комар и волк .....	191
Поём... .....	192
Из фольклора .....	193
Квартирьеры .....	194
Королева .....	195
Кирпич и раствор .....	196
Повара .....	197
Повару Соне .....	198
В степи .....	199
Хлеб .....	200
Планета Целина .....	201
Песенка бродячей собаки .....	202
Песенка строящих баню .....	203
Гимн стройотряда .....	204
Целинный свет .....	205
Самому себе .....	206
«Я искренне сказал...» .....	207
«Поэт — он больше жертва...» .....	208
Вере Симоновой .....	209
Крестная мать .....	210
Утро .....	211

Летом .....	212
Гроза в детстве .....	213
Вьюга в апреле .....	214
Листик .....	215
А теперь... ..	216
Лесная тропинка .....	217
Сквозь туман .....	218
У пруда .....	219
Кадрии .....	220
Подражанье песне .....	221
Alma mater .....	222
Слова мои... ..	223
Моя вина .....	224
«Обоим нам судьба несла...» .....	225
Листья на ветру .....	226
«Снег и снег...» .....	227
«Смуты душат человека...» .....	228
Страх .....	229
Враг .....	230
«Хотелось мир переиначить...» .....	231
«Во всём один свет...» .....	232
«Приникнув к миру...» .....	233
«О, пронзительной ясности миг!» .....	234
«Ах, годы, годы...» .....	235
Сон в деревне .....	236
Сосны шумят .....	237
Земляк .....	238
Эпитафия .....	239
В тумане лет... ..	240
Приятель .....	241
Сосед .....	242
Южный посёлок .....	243
Пусто... ..	244
Надежда .....	245
Дожди .....	246
Свет духа .....	247

Моё небо .....	248
Флирт .....	249
Мой грех .....	250
Шумят берёзы .....	251
Стройотряд .....	252
«В Казани...» .....	253
Люди, люди... ..	254
Без людей... ..	255
Дети .....	256
Лебедь .....	257
Моя звезда .....	260
Верю в Россию .....	261
На земле .....	263
Улетевшая песня .....	265
«Всё будто бы прошёл...» .....	266
«Тоскую я...» .....	267
«Я ждал тебя...» .....	268
Одиночество .....	269
Гонят .....	270
Не забыть .....	272
Те и ты .....	273
Спасибо .....	274
Заявляю... ..	275
Отец .....	276
Откровение .....	277
Старый солдат .....	278
Труд .....	280
Прощальное .....	282
Побег .....	284
К твоему огню .....	286
«Эй, где ты, юность?» .....	287
По поводу .....	288
Московскому другу .....	289
«То, что вечно...» .....	290
«Как жизнь...» .....	291
Я слышу голоса .....	292

Тоска по сестре .....	293
«Есть правда, есть ложь...» .....	294
«Ты не того страшись...» .....	295
«Парадокс...» .....	296
Маме .....	297
«Прощаюсь с вами...» .....	298
Думай .....	299
Пахарь .....	300
Стара-Планина .....	301
Над собой .....	302
Тайна .....	303
Лунный свет .....	304
Дорога .....	305
Ритмы .....	306
Моим друзьям .....	307
«Счастливый грустным не бывает...» .....	308
Благословение .....	309
«Куда же вы, друзья...» .....	310
«Я в деревне...» .....	311
«Огонь танцует...» .....	312
«Лихорадочно живу...» .....	313
«Я верую...» .....	314
«Вечер тёмен...» .....	315
Глубины .....	316
«Не продал душу...» .....	317
Надежда .....	318
Трус .....	319
Спасу .....	321
Критику .....	322
Одной знакомой .....	323
«До боли...» .....	324
Предсказание .....	325
Предчувствие .....	326
Снег .....	327
«Тихий звук...» .....	328
Наитие .....	329

Сон .....	330
Свет дружбы .....	331
Весной .....	332
Цветочная поляна .....	333
Зависть .....	334
Боль .....	336
Не принадлежит .....	337
«Неизъяснимо тихо...» .....	338
«Тихие звёзды...» .....	339
«Тебя подростком полюбил...» .....	340
«Давно за полночь...» .....	342
«Пойми меня...» .....	343
Нет звезды .....	344
Белые дни .....	345
«Я не о том...» .....	346
По жизни .....	347
«О милые, дальние дали...» .....	349
«Бейте, жизни удары...» .....	350
Йыван батор .....	351
Огоньки .....	352
Память .....	353
«Говоришь...» .....	354
«Лист упал...» .....	355
День .....	356
Радужная радость .....	357
Вдруг однажды .....	358
Солнце души .....	359
Горячее сердце .....	360
Биосфера, биосфера! .....	361
Духовные миры .....	362
Будем добрыми .....	363
Заблужденье .....	364
Куда? .....	365
Тревожно .....	366
Совет .....	368
Стон .....	369

Тоска по дождю .....	370
Неожиданное признание .....	371
И кажется мне... .....	372
Родина, свет твой... .....	373
Утраты .....	374
Когда я... .....	375
Бесовская душа .....	376
Убийца .....	377
Чавайн .....	378
О, Сеспель... .....	380
Весенний дождь .....	381
Парус .....	382
Народ мой .....	383
Коммунист .....	384
«Свет солнца...» .....	385
У памятника .....	386
Не отвергай... .....	387
«Чувашия сегодня...» .....	388
«Кто сказал...» .....	389
«Обида и страх...» .....	390
«Случается, настолько мы...» .....	391
«Не поздно ль...» .....	392
«Каково день встречать...» .....	393
«К чему мне слава?» .....	394
«Ждём, надемся...» .....	395
«Одна на всех...» .....	396
«Вот говорят...» .....	397
Зимнее .....	398
«В земной печали...» .....	399
Свобода .....	400
Слова .....	402
Мой голос .....	403
Желаю правды .....	404
«Нам никуда...» .....	405
«То пожар всемирный...» .....	406
«Когда я полыхал...» .....	407

«Становлюсь угрюмым...» .....	408
«С полочувств, с полунамёков...» .....	409
«И тучи в небе...» .....	410
«Изменчиво, непостоянно...» .....	411
Овраг .....	412
«Ах, жалость...» .....	413
«Нет даже тени радости...» .....	414
«Хоть рождён ты...» .....	415
«Сомнению подвергнув...» .....	416
Мечта .....	417
Князь .....	418
«Искали душу общую...» .....	419
«О счастье написать...» .....	420
«Закон любви...» .....	421
Свет .....	422
Мои признанья .....	423
«Не давая обета...» .....	424
«Нет, верить в бога — мудро...» .....	425
«Как трогательно...» .....	426
Двадцатый век .....	427
Природы лик .....	428
Мы .....	429
Веселье в себе .....	430
Шопен .....	431
Играют Шопена .....	432

### Поэмы

Лунная соната .....	435
Золотая моя колыбель .....	445
Живу! .....	457
Листопад .....	468

**Михаил СЕНИЭЛЬ**  
**(Михаил Павлович Егоров)**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

**Том первый**

Редактор *И.П. Турган*  
Художественный редактор *А.А. Трофимов*  
Корректор *М.П. Егоров*  
Оригинал-макет *Э.В. Кирилловой*

Подписано в печать 29.04.09

Формат 70x108<sup>1/32</sup>

Бумага офсетная

Учётно-изд. л. \_\_

Тираж 500 экз.

Печать офсетная

Гарнитура Times

Физ. печ. л. \_\_

Заказ № 11

Отпечатано в типографии Чувашского  
государственного института гуманитарных наук  
428015, г. Чебоксары, Московский пр. 29, корп. 1